

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



РОМАН №2 2017 ГАЗЕТА

Владимир Степанов / Жизнь как жизнь

90
лет





СТЕПАНОВ Владимир Владимирович

родился 5 июня 1951 г. в пос. Спирово Калининской, ныне Тверской, области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Член Союза писателей России, автор более десяти книг прозы, публицистики, поэзии, многих публикаций в различных газетах, журналах, альманахах, коллективных сборниках. Дипломант Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», победитель Пятого московского международного конкурса поэзии «Золотое перо-2008». Награждён Дипломом и Большой золотой медалью Российской Академии Литературной Экспертизы им. В. Г. Белинского «За заслуги перед русской литературой». За серию поэтических книг, в некрасовской традиции раскрывающих образ современной сельской России, удостоен Диплома лауреата Всероссийской премии имени Н. А. Некрасова в области литературы и искусства с вручением медали.

В новую книгу писателя вошли произведения, написанные на рубеже прошедшего и нынешнего столетий.



Открытие первого Музея писателя Сергея Тимофеевича Аксакова в Москве

Широкой читающей аудитории имя С. Т. Аксакова (1791–1859) хорошо знакомо по его мемуарам «Детские годы Багрова-внука», воспоминаниям о Гоголе, а любители природы родного края знают «Записки об ужении рыбы», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». И каждый из нас с детства находится под обаянием его прекрасной, нежной сказки об Аленьком цветочке.

С 1826 года вся жизнь писателя была связана с Москвой. Когда-то на Сивцевом Вражке был музей литературной жизни 30–40-х гг. XIX века, где большая часть экспозиции была посвящена С. Т. Аксакову, его семье, друзьям. Среди названий Арбатских переулков было увековечено имя С. Т. Аксакова. Но исторически так сложилось, что об этом помнят лишь краеведы и старожилы. Сегодня нет ни музея, ни улицы...



2 декабря 2016 года в старом здании бывшего Константиновского Межевого института, ныне Московского университета геодезии и картографии (МИИГАиК), состоялось торжественное открытие музейной экспозиции, посвященной русскому писателю и общественному деятелю Сергею Тимофеевичу Аксакову.

Что общего у русского писателя, мемуариста, театрального критика с такими техническими и глубоко прикладными науками, как геодезия и картография? Да, мало кто знает, что С. Т. Аксаков был первым директором Константиновского межевого института с 1835 по 1839 гг., создал устав этого высшего учебного за-

ведения, поставив задачей воспитывать не только землемеров, но широко образованных русских интеллигентов. В аксаковские времена в Константиновском межевом институте преподавали не только математику, астрономию и черчение, но занимались риторикой, словесностью, гимнастикой, танцами и рисованием.

Окончание см. на 3 стр. обложки.



НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

**Редакционная
коллегия:**

Дмитрий Белюкин
Юрий Бондарев
Семен Борзунов
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Юрий Коннов
Владимир Личутин
Юрий Поляков

**Ответственный
редактор**
Елена Русакова

В оформлении
использована картина
Дмитрия Ефремова
«Тверская деревня»

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2017
Все права защищены

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
www.gazety.ru

**Подписные
индексы издания:**

в каталоге агентства
«Роспечать»

70782 на полугодие,
71752 на год;

в объединенном
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге
«Почта России»

P1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2017 №2 /1774/ Основана в 1927 г.

Владимир Степанов

Жизнь как жизнь

Рассказы и повести

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В детстве родиной для меня была деревня. Потом дорога в соседнее село, где жила наша бабушка. Вдоль дороги лес, называвшийся почему-то Нивушками. За лесом поле и болото с клюквой, где однажды весной я впервые в жизни увидел журавлей. Живых, настоящих. Это было первое, еще неосознанное, но навсегда оставшееся в памяти, чувство моей маленькой родины. И ее людей — моих земляков.

Та дорога, что бежала от деревни нашей к селу, продолжалась дальше и уводила меня далеко-далеко: на моря и в горы, на юг и на север, в города и другие деревни. И всегда помнилась как частичка родного края, частица малой родины. Без нее не было бы для меня и большой Родины — всей страны нашей.

РАЗГОВОР

Танюшке десять лет. Летом она гостит у бабушки, моей соседки, а кончатся каникулы, всю осень, зиму и весну, до самого беззаботного лета, каждую пятницу приезжает в деревню, одна, без родителей. Благо недалеко — по отличному асфальту автобус за полчаса от заводского поселка докатит.

Бабушка Вера, знает ли наперед, нет ли, а все выйдет в этот день к остановке встречать девочку.

Идут они, взявшись за руки, через всю деревню на другой край, где стоит под высокими березами старинный бабушкин дом с широким «боярским» крыльцом и рядными, крашенными голубой эмалью (на ней только и держится истлевшее дерево), резными, словно замысловатое кружево, наличниками. Идут, о чем-то задумавшись, толкуют. Старушка сухонькая, маленькая, легкая на ногу. Внучка ростом ей почти вровень и тоже тонкая, как хворостинка. Не зная, да издали, примешь за сверстниц-подружек.

О чем их душевные разговоры — право, не ведаю. Но однажды шел позади, чуть поотстав от них, тоже с автобуса, и ненароком подслушал.

— Бабусь, у твоей Зорьки в хлеву хорош-о-о... — заглядывая бабушке в глаза, мечтательно говорила Танюшка. — Жильём, коровой пахнет... А у нас, как продали Красотку, завели козу Зинку, так совсем-совсем во дворе плохо стало... Зинка только и знает бегать по двору да кричать на весь дом: «Бе-е-е-е...» И еще бодается... А рань-

ше зайдешь к Красотке, погладишь ее — она лежит, теплая, жует, вздыхает... ну прямо, как ты, бабусь!..

— Экая выдумщица, — прыснула бабушка. — Ведь эка сказанула...

— Да, да!.. Похоже... И Зорька на тебя похожа. Ты не спорь!.. Я нашу Зорьку, ну прямо как тебя, бабусь, люблю!

— Ну и пускай я корова, — шутливо разобиделась бабушка. — А ты тогда, Татьяна, коза! Коза Зинка! Вот мое слово!..

— Ой, бабушка! Не хочу козой, хочу, как ты, коровой... И будем мы с тобой подружки!..

— А мы, Танюшка, и так подружки... Я подружка старая, а ты молодая...

— Ой, бабусь, как хорошо! — обрадовалась девочка. — Я ведь тебя люблю-разлюблю! Очень-очень!.. Ну, прямо крепче крепкого!.. Я вот стану старенькая, и будем мы с тобой одинаковые. Ну, совсем подружки!..

— Хорошо бы так, внученька, только...

Сзади нагнал нас, рыча, трактор, огромный «К-750», обдал пылью, смял какие-то бабушкины слова.

Я долго еще шел следом, но разговор как обрезало. Обгоняя соседок, оглянулся, здороваясь. Девочка шагала молча, печально сжав губы. В глазах ее стояли глубокие слезы. А бабушка Вера гладила плечу по плечу и чему-то мудро улыбалась.

Я понял, что сказала бабушка.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ЗАБОР

Еще с весны, приезжая на выходные домой, собирался я перебраться забор, отделяющий наш огород от соседского. Старый-то совсем обветшал: столбы подгнили, прясла покосились в разные стороны, тычины выпали — даже смотреть стыдно.

Но ни весной, ни летом руки до дела не доходили. Вернее, до забора не доходили, дел же невпроворот было: то подрезка кустов и деревьев, то вспашка огорода, посадка картошки, поливка, прополка, окучивание — десятки и сотни всевозможных огородных забот.

Давно трудовая весна пролетела, жаркое лето в хлопотах пробежало, урожайная осень им вслед потянулась. Опустел огород, осыпалась жухлая листва с ягодников, тронул почву первый заморозок, первый снежок волнистыми барханчиками припорошил землю.

Приехал домой на ноябрьские праздники, а гулять некогда: отец без меня задумал забор ставить. Уже снял, разобрал на дрова старые прогнившие прясла, долбит ломиком ямы для столбов. Скинул я выходной костюм, туфли, натянул одежду попроще, сапоги — и к нему на помощь. Вдвоем веселее пошла работа. Не прошло и часа — у нас уже белые смоляные столбы стояли, упругие жерди были навешаны.

Устали, сели перекурить.

— Бать, — говорю, глядя на ровную нитку столбов, стянутых длинными жердями. — А на кой нам забор? От кого? Ну, кто сюда полезет?

Усталым взглядом окинул отец наше будущее творение, поскреб седой затылок пятерней, заскорузлой от работы, и, чуть помедлив, усмехнулся:

— И верно, к чему огород городить? Есть граница — и ладно! Нет же, привычка раньше нас родилась, попробуй откажись от нее...

Посидели мы на пружинистых жердях, докурили да и бросили недоделанным дело.

Так и стоит, светлеет свежей древесины наш необычный забор, разделяя по меже границу с соседом. Стоит, как светлая мечта о том несбыточном времени, когда не будет на огородах заборов, как на земле не станет границ.

ПО ГОЛОЛЕДУ

Уже глубоким вечером, когда крупная багряная луна тяжелым шаром зависла над крышами станционных построек, сошли с сыном с поезда. Проводник подал нам увесистую сумку, опустил откидную железную подножку и приветливо махнул рукой моему беспкойному сынишке, всю дорогу веселившему пассажиров:

— Пока, озорник. Счастливо!

— Счастливой дороги, — махнул я в ответ проводнику.

Поезд дернулся, и тихо пошли вдоль перрона зеленые обледенелые вагоны, а проводник все кивал и кивал нам, оставаясь в проеме и медля закрывать дверь.

— Куда они, па-па-па, поехали? — запрокинув вверх голову, спросил сын и тут же, перехватив мой осуждающий взгляд и, видимо, вспомнив, что говорить нужно «папа» или, если не можешь в два слога, то «папаша», как учил я его для точности, поправился: — Куда они поехали, па-па-ша?

— Вот так правильно! — улыбнулся я. — А поехали они в Ленинград.

— Как я рад, как я рад — дядя едет в Ленинград, — запрыгал около меня сын и поскользнулся на обледенелом перроне.

Он тут же поднялся, явно ударившись о лед коленкой, но виду не подавал, что больно, только потирал ее рукой, продолжая приговаривать полуспотом:

— Как я рад, как я рад...

Мерцающий огонек последнего вагона скрылся за путепроводом, улеглась снежная крупа, поднятая ветром и поездом, и сын уже не повторял веселый ребячий стишок, но все еще потирал ушибленную ногу.

— Ну, все, Сеня, хватит! Можешь идти? — спросил я, забирая в руки сумки.

— Могу, — сказал сын. — Давай и я что-нибудь понесу.

Я передал ему легкий пакет с одеждой, и мы тронулись. Перрон, покрытый коркой первого осеннего ледка, был неровный. Синтетические подошвы моих туфель скользили, но, плотно ставя ногу сразу на всю ступню, я шел, рассчитывая каждый свой шаг. К тому же устойчивости мне, по-видимому, придавали тяжелые сумки. Сын же, едва мы тронулись, заскользил, как гусь по льду, и снова едва не падал.

— Берись за сумку, помогай мне, — видя его неуверенные шаги, сказал я.

Он взялся за ручку моей сумки, сразу утяжелив ее, но все равно шел шатко и неуклюже.

— Па-па-ша, ну почему так? — спросил он, глядя мне под ноги. — Ты идешь и ни капельки не скользишь, а я все время падаю?

— Нужно уметь ходить. Ставь ногу плотнее, не поднимай высоко. Вот так. Молодец!

Я терпеливо следил за его неловкими еще шагами, подбадривал и помогал, а сам думал: наверное, пока мы идем до родительского дома, я научу его ходить по скользкому осеннему гололеду, но научу ли шагать по земле, по всей его долгой будущей жизни уверенно и твердо? Научу ли? Хватит ли сил и мужества у него, терпения, сил и опыта у меня?

КУСТ СИРЕНИ

Как-то я привез из питомника несколько кустов белой махровой сирени невиданного нового сорта. Дело было весной, почки уже набухли и походили на маленькие крепкие кулачки, сжатые до поры до времени. Правда, кустами те метровые ростки трудно было еще назвать: зеленый гибкий прутик с сеткой корешков у комля — вот и весь куст.

Сирень у нас сажают под окнами, чтобы глаз в дни цветения радовала, или где-нибудь на отшибе, в стороне, вдоль изгороди, чтобы нужную землю не занимала.

— Сажай под окнами, коль привез, — не особо радуясь этому бесполезному, на ее взгляд, растению, указала мать на узкую полосу бросовой, каменистой земли между домом и соседским заулком.

Так и выпала этим кустам незавидная, уготованная волей крестьянской привычки судьба.

Твердый грунт, вымытый сточными водами, не брала ни одна лопата. Камень на камне, битый кирпич и стекляшки, ржавая проволока и мятые консервные банки — вот что за почва была здесь. Киркой и ломом выдолбили мы посадочные ямки, положили в них по полведра перегноя, присыпали саженцы плодородной землей и, честно говоря, с той поры забыли о них.

Не год и не два боролись за свою жизнь те хилые кустики и не все прижились. Но те два, что крепко пустили корни, вовсе расцвели. К лету они так буйно расцветают, что совсем закрывают мохнатыми ветками кухонное окно. На дворе полдень, солнце во всю мощь светит, а на кухне полумрак — хоть свет зажигай. Мать уже сердиться стала:

— Выруби ты ее! Как в потемках ходишь...

Не раз и не два повторила она свою просьбу, и как-то глубокой осенью, внемля ей, я взял в руки топор. Зашел с соседского заулка и невольно залюбовался сиренью. Давно уже не было на ее ветвях белых махровых цветов, листва от ветров и дождей поредела, но еще настоящей весенней свежестью веяло от умытых холодным дождем и мокрым снегом веток. Ни березы, ни яблони, ни тополя не сохранили на себе ни одного листочка, только сирень все еще была сочной, зеленой.

Я глядел на сирень, и решительность покидала меня. Рука с топором не поднималась на эту красавицу.

ДВА ТОПОЛЯ НА ЗАДВОРКАХ

Эти два тополя все еще растут на бывших наших задворках, где нынче расположились дома Проезжего переулка. Но новый хозяин земли все грозит их спилить, мол, тени от них много и мусорят они отсохшими ветками. Пока же тополя высятся позади моего заброшенного огорода. Я гляжу на них и будто возвращаюсь памятью на полвека назад...

Пробежишь огородной тропинкой мимо картофельных плетей, выскочишь на зеленый лужок — вот они, два могучих тополя по обочинам вечно грязной, разбитой телегами и машинами дороги. Помню, бабушка Марья, ослепшая к своим последним дням, спрашивала меня, несмышленного еще мальчика:

— Вовка, стоят ли Матвеевы тополя на меже?

— Стоят, баб, стоят, — задира я голову. — Кто ж их спилит, такие толстенные? — отвечал и тут же забывал о них — не было мне до тех тополей дела в ту пору.

Интерес к великанам деревьям пробудился попозже. Подрастая, я не раз забирался наверх по корявым стволам, каждый раз стремясь достичь все большей и большей высоты, добраться до колеблющихся, хрупких вершин. Знаю, что где-то там, наверху, в ветвистой кроне тополя, что потолще, должна перехватывать ствол петля из рыболовной лески — знак моего самого высшего достижения. Это было мальчишество, но теперь, улыбаясь воспоминаниям, я никогда не назову его глупым. Так, наверное, я непроизвольно вырабатывал будущий характер: поднимал жизненную планку все выше и выше, и ее нужно было преодолеть. От тех острых мигнов на го-

ловокружительной высоте до сих пор сохранилось такое ощущение, будто постигаешь что-то новое, неизведанное и, познав его, стремишься дальше и выше.

Позже я не раз проезжал свою станцию и при-мкнувшую к ней родную деревню в ночных и дневных поездах — пассажирских, скорых, экспрессах. И всегда будто какая-то зовущая сила поднимала меня из мягкого кресла или теплой полки и влекла в холодный, продуваемый встречными ветрами тамбур. Я нетерпеливо смотрел на часы, и меня каждый раз, будто заново, осеняло: «Это родина, моя родина!» Так, припав к стеклу, я считал знакомые полустанки, ожидая станцию Спирово, неприметную попутчикам, но единственную для меня. Вот я видел родные крыши, и среди них глаз выхватывал две ветвистые кроны. Мои тополя! Мне становилось легко и радостно, словно на краткий миг выбегал я по теплой тропинке на зеленый лужок, к тополям, к своему детству и откуда-то издалека слышал родные голоса матери, отца, сестер, братьев... В чужой дали, когда била в иллюминатор соленая волна или грохотал за окном засыпающий многомиллионный город, когда стонал над головой неприветливый, хмурый лес или мерцали на высокой горе ослепительные огни комфортабельных пансионатов, в мою растревоженную память вдруг врывались воспоминания и всю ночь снились колыхнувшиеся вершины тополей, скрип половиц в родном доме, лица моих стариков. Утром я знал, что пора мне домой, здесь не будет покоя. Вещие сны поднимали меня в дорогу, и ничто уже не могло остановить, удержать.

Вот и снова я здесь, под родным небом. Стою лицом к солнцу и вижу: нет пустынных задворков. На их месте целая улица домов и коттеджей. Прежние только тополя. Но у одного спилены нижние ветви, к стволу его притулился металлический гараж и прибит баскетбольный щит — будто самому мне вогнали в тело железные гвозди. Прямо у ствола другого грунт разворочен по самые корни — будто мне по голым ногам прошлись железной лопатой. И никто не замечает могучей красоты моих тополей.

Вот так же стояли некогда мы с сыном здесь, у дороги, и я хотел донести до него семейное предание о тополях-великанах и чудном своем деде, его прадеде, посадившем их когда-то, о заветной мете из капроновой лесы и моих вещих снах. Но сын то ли по малости лет, то ли по современному своему менталитету не был готов к такому разговору и, кажется, ничего не понял. Что же толкало меня посвятить его в эти нехитрые тайны? Толком не знаю. Наверное, очень хотелось, чтобы моя родина, родина его дедов, стала ближе ему и понятнее, чтобы когда-нибудь отыскал он ту мету и поднял ее повыше, пошел дальше меня. И главное, чтобы помнил об отчем доме и всегда возвращался к нему.

МОЙ ДУБ

Я возвращаюсь с ночной электрички. Прохожу пустынными улочками родного поселка. Спеша к отчужденному дому, выхожу на свою деревенскую улицу. Зачем я спешу? Никто не ожидает меня. Прежде ждали отец и мать. Теперь ждать некому — родители покинули эту землю. Но все же я знаю, что кто-то меня ожидает. Нет, не дом родной, в котором за время моей отлучки выстыли стены. Не сосед-другок Витек, что пьяненький давно уже завалился спать. Не подружка давних лет, с которой мы давно уже просто знакомые. Меня ждет-ожидает мой Дуб. Тот, что растет у нашего дома с тех пор, что я помню себя. Он мой ровесник. Ему, как и мне, уже больше полвека. Когда-то я, как живому человеку, посвятил ему две строчки в стихотворении «К матери»: «Мой ровесник, он многое помнит о том, как мы здесь вырастали и как уходили из дома».

С тех пор много лет прошло. Но почему каждый раз, когда уже не стало ни матери, ни отца, замирает мое сердце с каждым приездом на родину, с каждым приближением к остывшему отчужденному очагу? О чем я с такой тоской вспоминаю, к чему прислушиваюсь?

А прислушиваюсь я к шуму моего дуба, называя его по имени — Дуб. Я слышу шелест его листьев: весной — слабый и легкий, почти неразличимый в ночи, летом — мощный, шуршащий, с переливами, напоминающими шум дождя, осенью — сухой, как прощальный. О зиме даже не хочу говорить — только свистящий, злой ветер стонет в его просторной кроне, только холод и стынь затаились в его ветвях. И мне не хочется отпирать дом, распахивать дверь в выстывшее пространство избы. Какое-то время я стою в отдалении, слушая ветер в оголенных сучьях и будто впитывая в себя пронизывающий душу холод. Но вот открываю калитку, подхожу к дому и направляюсь к Дубу. Я обнимаю его мощный, заскорузлый ствол, и мне уже не хватает обеих рук, чтобы обхватить его целиком — так он вымахал, взматерел за эти годы.

— Здравствуй, брат! Здравствуй, друг! — как живому, говорю я ему и, право, ощущаю себя его старшим братом.

Такое творится со мной, наверное, потому, что не было у меня младшего брата. И еще потому, что всю жизнь таскало меня по чужим краям, а он, словно двойник мой, к которому я всегда стремился, оставался здесь, у отчего дома, как верный страж его.

В такие минуты я невольно думаю о себе, о своей перекатившей зенит жизни. Что я сделал? Где пригодился? И все ли я сделал? А какие замыслы с юности были! Но что-то я все-таки сделал.

Говорят, чтобы не зря прожить жизнь, нужно посадить дерево, построить дом, родить сына и написать книгу. Книг я написал уже больше десятка. Начинал с прозаических, но в зрелые годы боднул меня

черт в ребро, и душа моя потянулась к поэзии. Только кому сейчас нужны книги, что мои, что многих других авторов? Компьютер, на котором строчу я это повествование, вытеснил и подавил Книгу. Придет ли ее возрождение? Не знаю. Сын мой Арсений давно вырос и теперь уже сам стал отцом. Он не пошел моей лирической стезей, а стал физиком. Шесть лет вгрызался в гранит этой серьезной науки на физфаке МГУ, изучал Солнце и пятна на нем. Но его теоретические знания остались невостребованными. Кому нужны сейчас ученые-теоретики? Он ушел в мир компьютеров, и его университетские знания пригодились в этой отрасли. А я так и остался лириком, хотя ходил и в главных редакторах, и в больших начальниках, в подчинении которого (страшно теперь подумать!) были почти тысяча человек. Дома своего я, правда, так и не построил — сил, умения и средств хватило только на возведение бани на краю родительской усадьбы, но вот квартиру отдельную почти в центре Москвы получил. Так что, считай, и дом построил. Деревьев и кустарников, слава богу, за всю жизнь насажал немало! Но главные мои деревья — две яблони-дикарки, три рябины и клен — растут у родительского дома. Их еще тонкими прутишками в зрелые свои годы я принес из железнодорожных посадок и воткнул в землю у подоконья. Прижились, выросли и, можно сказать, песней стали: я написал стихи, а мой друг — бард Володя Дунаев положил их на музыку. Это была моя первая песня. Она мне и по сей день дорога и моим друзьям нравится. Бывает, я включаю ее магнитофонную запись во время застолья и слышу лестные отзывы, мол, спой ее популярный певец — и запоем эту песню вся Россия. Навивные люди! С этими стихами работал профессиональный композитор, популярный в 70-е годы, теперь уже покойный Ладос Сурамели. Он написал к ним клавиры и, как рассказывал мне, предложил своему давнему приятелю по сцене Льву Лещенко исполнить ее. Лев согласился, но... только за деньги. Где же нам с Ладом было взять эти деньги? Полагаю, немалые. Иначе в шоу-бизнес пускали бы не только «своих»... Пусть по большому счету и не состоялась моя песня, зато каждый сентябрь, когда пожелтеет листва на яблонях и клене, а рябины заалеют спелой ягодой, я заглядываюсь на красоту своих деревьев и смело, без хвастовства могу утверждать, что мой дом в эту недолгую пору золотой осени самый красивый в деревне. Возвращаясь как-то с рыбалки, а соседка Фаина рассказывает:

— Ходит и ходит какая-то женщина с ребенком у твоего дома, девочке что-то рассказывает и все рукой показывает. Я думала: родственники твои. Спросила. «Нет, — отвечает. — Мы с дочкой деревьями любимемся. Поглядите, красота-то какая!»

Я тогда пригляделся к своему зеленому дому, спрятавшемуся в золотой кипении листвы и рубиновых гроздьях рябин, и обомлел — красотища! Потом,

проезжая на мотоцикле по деревне, всматривался в другие дома, но краше своего не находил. Так и стоял мой ветхий родительский дом в багряном наряде, пока не налетела стая прожорливых дроздов и не ободрала ягоды с рябин, а вскоре ударил морозец и хлесткий октябрьский ветер доконал природную красоту. Лишившись такого убранства, словно угасли окна в доме, а сам он осиротел. Только Дуб еще до глубокой осени радовал глаз.

Я вспоминаю, как старшие братья выкопали в тех же посадках, протянувшихся вдоль железной дороги, три молодых дубка и на моих глазах высадили их вдоль забора. Те деревца, что стояли по углам, вскоре засохли, а средний дубок прижился и стал наливать силой год от года. Он рос, мужал и я. Он был мне как младший брат, как безмолвный товарищ. Когда в пору юности я покинул отчий кров, он был уже настоящим взрослым деревом и, отправляясь в дорогу, протянувшуюся на десятилетия, я назвал его про себя Дубом. С тех пор так и зову.

Дуб теперь в самой силе. Каждую осень он обильно плодоносит: присматриваясь к его густой кудрявой листве, я замечаю там лаковые зерна крупных желудей и вспоминаю, как мой сын Сенька, тогда еще совсем малолетка, приезжая к бабушке в деревню, собирает их в пластиковое ведерко, усердно сажает на отдельной грядке, не забывает каждое утро, пока гостит, поливать, наивно полагая вырастить настоящую дубовую рощу. Мне понятно желание сына, и я всячески поддерживаю благое его начинание. Но, верно, не ладится что-то пока у моего юного лесовода с агротехникой, и желуди, не дав всходов, пропадают в жирной унавоженной земле.

Мой приезд из деревни сын встречает неперенным вопросом:

— Ну как, пап, взошли дубки? Ты посмотрел?..

В его желудевых глазах такой интерес, что не хватает духу опечалить его. То сошлюсь на снега, завьюжившие землю, то на крапиву, заполонившую тропинку к «роще», то еще что придумаю. Пусть верит, что живы его деревца. Потом, когда вновь приехав в деревню, сын зовет меня к грядке, где бабушка уже успела высадить морковь или свеклу, и недоумевает, где же дубки, мы старательно ищем среди ботвы их всходы, сетуем на плохую всхожесть прошлогодних желудей и закладываем новую «дубраву», уже в другом месте.

С каждым годом мощнее и краше становился наш дуб. Еще заметнее подрастал мой сын Арсений. Скоро у него прошла эта детская блажь — сажать желуди и ждать, когда из них вырастет дубовая роща. Но я видел, что заронено в его душу здоровое зерно и когда-нибудь оно даст хорошие всходы: зазеленеет на земле не одно дерево, посаженное руками моего сына.

Теперь вот соседские ребятишки переняли Сенькины игры. Они подбирают опавшие желуди для своих забав. Я и сам, как мальчишка, бывает, тоже

наберу в пакет отборных плодов со своего Дуба и везу в Москву, раздариваю друзьям и знакомым, мол, сажайте на своих участках и дачах. По весне в прорастающей траве я порой замечаю пробившиеся дубки, собираюсь отсадить их, да забываю, где они, и, выкашивая заулочок, невольно срубаю и их. Такова правда жизни.

А еще правда в том, что Дуб мой растет и матерееет, я же не чувствую прежних сил, уже увядаю. И с этим надо считаться: недолго век человеческий. Когда-то, может, совсем скоро я уйду в мир иной, а Дуб мой останется и, если не замахнется на него топор соседа или нового хозяина нашего двора, простоят еще долго, не одну сотню лет. Никто тогда уже обо мне и помнить не будет, но я-то буду знать в том далеком своем далеке, что под его могучей кроной расцелуют еще не одну красавицу и не один русский парнишка, запрокинув вихрастую голову, восхитится этим исполином.

ДРУГ МОЕГО ДЕТСТВА

Мою первую собаку звали Тобик. У нее не было ни чистых кровей, ни звонкого голоса, ни других особых качеств, за что ценят обычных собак. В наш дом она попала после моих бесконечных уговоров и постоянного нытья: «Хочу собаку... Собаку хочу». Матери все это вконец надоело, и она разрешила привести какую-нибудь «шавку», напоследок проворчав с напускной строгостью — я чувствовал это:

— Лучше б учился, книжки читал, чем с собаками возиться... А то вон, нахватал троек с полкороба.

— Я хорошо-хорошо буду учиться, — запальчиво пообещал я. — Все тройки исправлю... Вот увидишь, мам!..

— Ну ладно, ступай, — не сдержала она невольной улыбки, наверное, знала, что сейчас, ради моей долгожданной, заветной собаки, я могу наобещать что угодно: и учиться на одни пятерки, и любую работу по дому делать, и в школе не шалить, и по соседским садам не лазить. — Только, гляди, не с лошадей псину-то ищи! К чему зря кормить такую прохвосту? Лучше телка завести...

Но я почти не расслышал последних доводов всегда рассудительной матери. Я уже чуть ли не кубарем скатился по крутым ступенькам сеней и бежал к Сереге Сергушихину, своему приятелю и однокласснику.

У Сергушихиных за двором, в огороде, был чуть ли не настоящий зверинец. В клетках, поставленных друг на друга вдоль забора, жили неповоротливые красноглазые кролики и шустрые усатые крольчата. В сетчатом вольере две бурые нутрии выхватывали лапами ракушки из таза, легко разгрызали их огромными оранжевыми резцами. В баньке, под полом, обитал еж, которого Серега еще прошлым летом вы-

менял на складник у пацанов из соседней Пеньковки и посадил в коробку, собираясь отнести его назад, в лес. Но еж в ту же ночь, подняв картонное дно, сбежал и поселился под баней. Сколько мы с Серегой ни пытались его изловить — все безуспешно. Еж основательно поселился в сергушихинском огороде. Он даже на зиму, в спячку, залег здесь — как только сошел снег и чуть подсохло, Найда стала с беспокойством облаивать баню, и мы, заглянув под пол, увидели там колючего поселенца. Но главное, конечно, что тянуло меня к Сергушихиным, заставляло часами ошиваться у них в огороде, была сама Найда, ее щенки, которые обязательно появлялись каждой весной и осенью. Найда почти всегда сидела на цепи, нам с Серегой было жалко ее, хотелось побегать вместе с собакой. Но его отец дядька Сережа строго-настрого запрещал спускать Найду — она, вырываясь на волю, безжалостно рвала и трепала на своем пути все живое. Не трогала почему-то только нас, пацанов. Сейчас у Найды были щенки: три черных как уголь, совершенно не похожих на рыжую остро-мордую мать, кутенка. У них только-только прорезались щелочки мутно-голубых глаз, и кутята, скуля и повизгивая, ползали вдоль высокого порожка конуры, рискуя вот-вот свалиться вниз. Смелости самим ступить в «страшную» глубину у щенков еще не хватало, и мы с Серегой выручали их, выпускали на зеленую травку.

Задыхаясь от радости и быстрого бега, я влетел к приятелю в огород. Он, как всегда, возился со своими зверями. Одним духом я выложил, что мне надо. Серега сначала уперся:

— Дай щенкам подрасти, тогда и возмешь.

Но я был нетерпелив. Я попросту не мог ждать, боялся — вдруг мать передумает и тогда... С такими доводами упрашивать долго не пришлось, Серега отступил:

— Ну, бери... Только пока одним молоком корми. Смотри, хлеба иль щей не вздумай дать.

Я выбрал самого черного, беспросветно-черного неуклюжего щенка и в хозяйственной сумке, которую одолжил мне приятель, приволок домой.

Особых симпатий у моих домашних пес не вызвал. Вислоухий, головастый какой-то. Ни лаю от него, ни веселой игры. Лежит целыми днями в углу на старой фуфайке, носа высунуть боится.

— Ну и лентяй — соня соней... — только и махнула на него рукой мать.

А для меня и не нужно было лучшего. Это была моя собака. И все тут! Правда, где-то в душе я все же мечтал, что из щенка вырастет настоящий пес, который будет мне верно служить, защищать от обидчиков, выручать из беды. Как овчарки в кино. Тогда я еще не знал, что овчарками рождаются, а не вырастают из обыкновенных дворняг.

Тобик между тем подрастал. Но сколько я ни старался выдрессировать его, сделать настоящей ученой

собакой — все было безуспешно. Брошенную мной палку он утаскивал куда-нибудь подальше и, как я ни приказывал, ни за что не хотел принести ее, подать мне в руки. Мою затертую до дыр кепку хватал нетерпеливо и с азартом, но, потрепав, скоро оставлял. Он будто не понимал — чего от него хотят. Я же упорно желал на зависть всем сверстникам научить пса ходить со мной рядом с кепкой, с портфелем в зубах, выполнять любую мою команду. Младшие смеялись над моими затеями, старшие порой давали подзатыльники, чтобы не мучил без толку собаку. Но обида за пса и на ребят еще больше подогревала меня.

Зимой я надумал выучить Тобика ходить в упряжке. Выпросив у отца дратву и шило, целый вечер просидел за работой, мастерил собачью сбрую. Но пес словно смеялся надо мной. Он никак не хотел тащить санки, ложился на спину, путался в упряжке. Я до того рассердился на бестолкового пса, что ударил его. Тобик не завыл от боли, не убежал. Он зарылся мордой в снег у моих ног и тихонько поскуливал.

Талант пса я открыл позже, на следующее лето, когда он вымахал уже в огромную дворнягу...

Закончив последнюю четверть и на каникулы распрощившись со школой, целые дни напролет мы, деревенские ребята, пропадали у лесных прудов. Местечко это называлось Летным полем, хотя поля уже давно не было. Рассказывали, что в войну здесь находился запасной аэродром. Как-то немцы сильно разбомбили его, но разбомбили пустую — наших самолетов как раз на месте ни одного не оказалось. Пострадало только поле. Воронки изуродовали его так, что восстановить посадочную полосу можно было не скоро, да и фронт к тому времени откатывался все дальше на запад. Аэродром оказался не нужным, а пахать и сеять здесь тоже нельзя было. Так и оставили поле в покое. Воронки заливало водой, затягивало илом. Из недалекого березняка заносило ветром семена, и спустя полтора десятка лет — в пору нашего детства — здесь уже весело шумел молодой, крепкий лесок, скрывая в своей белоствольной глубине страшные раны войны. Правда, тогда мы почти не задумывались над этим — Летное поле было для ребятшек обыкновенным местом бесчисленных игр.

Мы купались в теплой зеленоватой воде лесных прудов, почти никогда не вспоминая, что это бомбовые воронки. Собирали в березняке первые грибы-кокосовики. Тут же, в лесу, насадив на пруты, жарили их на костре и, часто без соли, обжигаясь, поедали. Еще мы строили здесь укромные шалаши, даже землянку однажды вырыли. Мы играли «во взрослых» — маленькая ребячья республика жила своей беззаботной жизнью. Тобик всюду сопровождал меня.

В разгар лета, с началом сенокоса, игры у прудов на Летном поле как-то сами собой прекращались. Кто отправлялся со взрослыми на покос, кто пропадал целыми днями на ягодных Татаркиных болотах. Болота в округе были обширные. Они уходили за на-

шу деревню на долгие километры, и, где им край, мы, ребята, не знали. Хотя не раз, отправляясь по ягоды, старались забрести далеко-далеко, чтобы дойти именно до самого края. Зато мы знали из рассказов школьного историка, что много веков назад до наших краев докатился татарский отряд и, потеряв в непролазных топях боевых коней, остановился, ни с чем повернул назад. И назвали наши предки спасшие их болота Татаркиными. Сотни лет прошло, а память народная сохранила это имя. Болота наши богаты всякой ягодой: уже в июне мы собирали отборную янтарную морошку, называвшуюся в деревне столь же загадочным словом — куманика. Затем друг за другом поспевали голубика, черника, брусника, клюква и другие болотные ягоды.

Как-то перед началом сенокоса, вернувшись с прудов и усевшись в заулке на чурочке, я помогал отцу отбивать косы. Заканчивался долгий летний день. Мать доила молодую строптивую Красотку, покрикивая на нее. В воздухе перемешался стук молотка по «бабке», шипение тугих молочных струй о звонкие стенки подойника, нудное стрекотание кузнечиков в огороде и усталый людской говор.

Отложив в сторону отбитую косу, отец как бы между прочим сказал:

— Что-то собаки твоей нынче не видно.

Я метнул взглядом по сторонам, бросился к конуре, в сарай. Как же я сразу не заметил: Тобика, моего неразлучного Тобика, нигде не было. Оставив батины косы, я выскочил на улицу, звал:

— Тобик, Тобик, Тобик!

Свистал. Вновь звал. Собака не откликалась. Подоив корову, в калитке появилась мать:

— Да придет твоя псина. Куда ей деться? Ужинать ступай, молока парного налью.

Я не слушал мать, я искал собаку.

— Ужо хворостину возьму, — рассердившись, пригрозила мать. — Ишь, на ночь глядя, горланишь на всю деревню... Не овца — волки не зарежут... Спать пора, на покос завтра вилами поднимать?.. Кому говорят: ступай в избу!

Не сразу зазвали меня домой. Обежал все соседские заулки, стучал в окна приятелям:

— Тобика не видали?

Все только пожимали плечами или попросту посмеивались над моей потерей.

За столом, куда наконец брат чуть не за руку притащил меня, я сидел хмурый. Какая ж тут еда — моя собака пропала...

Подняли поутру ни свет ни заря.

— На покос собирайся, — распорядился отец. — Живо!

Одеваясь, я не нашел своего пиджака.

— И куда он запропастился? — бормотал я спросонья, роясь в одежде, сваленной на сундуке.

— Не тяни резину! — окрикнул отец. — Другой надень.

— Керя-растеря, — посмеивался надо мной брат. — Вчера пса потерял, сегодня — пиджак, завтра голову где-нибудь оставишь...

О пропавшем пиджаке я тут же забыл, едва мы вышли за околицу, на полевую дорогу. Солнце еще не вставало, а в небе, у самых облаков, уже дрожали, истекая трелями, шустрые жаворонки. В густой траве, тяжелой от росы, бойко стригли кузнечики. Утренняя, с легким туманцем прохлады освежала щеки, забиралась под рубашку, щекоча тело. Но я словно бы не замечал холода, не радовался голосистым звукам нового утра. Я думал о своем Тобике.

— Что ты нос, в самом деле, повесил? Вернется твой пес. Кому он такой нужен — дворняга? — с усмешкой успокаивал брат.

Работник из меня в тот день был «аховый». Батя то и дело поругивал за халтурно разбитые прокосы, клял и меня, и собаку.

Часа через три мы вернулись домой. Позавтракав, старшие вновь отправились на работу. Наносив в кадки воды, чтоб прогрелась к вечеру для поливки огурцов, я уныло скитался без дела. Не к кому было пойти, расспросить — не видели ль Тобика — все на покос ушли да за ягодами.

Спала полуденная жара. Я все так же, как неприкаянный, слонялся из избы в сени, из сеней в заулок, и снова в избу, все время думая о пропавшей собаке и находя себе места. И вдруг свист на улице, наш условный: один длинный, два коротких.

Под окнами, у ветлы, стоял рыжий Юрка Прибытков, по прозвищу Пескарь. Дразнили мы его так в честь шолоховского Щукаря — врал пацан неимоверно. Но врал все-таки мелкогато и до шуки явно не тянул, в пескарях ходил. Как-то он уверял нас, что засохшая сосна на деревенском кладбище — дело рук его, Юркиного, отца. Мол, приезжал дядька Боря с фронта на побывку и, чтобы не разучиться метко стрелять из своего пистолета, выходил каждый день за деревню и палил по сосне. Вот она от пуль и засохла. Почти столь же невероятная история вышла и с медвежьей берлогой, которую Юрка отыскал на болоте. Выдумки Пескаря были шиты белыми нитками: медведь «ушел из берлоги», не дождавшись нас, ни следочка, ни вмятинки на ровном снежном поле не оставил; дядька Боря, оказалось, во время войны еще сопливым пацаном бегал и уж на фронте, да еще с личным оружием, никак не мог быть.

— Чего тебе? — спросил я Пескаря с неохотой.

— Твой Тоб знаешь где?

— Тобик! Где?

Пескарь посмеивался. «Разыграть хочет...» — с тоской подумал я, вспомнив вдруг все последние выдумки завиралы. — «Загнет сейчас что-нибудь...»

— А ты пиджак где оставил? — ехидничал Пескарь.

И тут я вспомнил:

— В лесу, на прудах...

— Так вот и собака твоя там.

— Ври, ври... Что ей там без меня делать? — не верил я.

— Чо ври! Сбегай — увидишь, — начинал сердиться Пескарь. — Идем сейчас с ягодами... В шалаш заглянуть хотели. А твой балбес на пиджаке лежит и на нас еще лает... Никогда не кусался, а тут на те — Серегу за руку цапнул...

— Правда? — все еще боясь розыгрыша, не хотел я поверить.

— Во, голову на отрез даю! — провел Пескарь по горлу синей от черники ладонью.

Так Пескарь никогда не божился, и я теперь не сомневался в его словах. Пожалуй, впервые верил ему в полной мере. «И как это сам не догадался? — ругал себя. — Ведь читал же об ученых собаках, читал!.. Но чтобы мой, бестолковый?..»

К прудам не бежал, а летел. Через лес, напрямик, без тропинок. Тобик выскочил мне навстречу, завилял хвостом, заюлил, запрыгал. Я обнимал мою собаку, целовал ее в мокрый холодный нос, в черную жесткую шерсть и плакал. Плакал от счастья и радости. И дай мне тогда мечту-овчарку — ни за что бы не променял на нее Тобика, моего верного, умного, хорошего пса, моего лучшего друга.

Когда я вернулся с собакой в деревню, Пескарь уже разнес весть о ее преданности всей ребятне. Мальчишки смотрели на меня с завистью, на Тобика — с восторгом. Угощали его сахаром, белым хлебом. Гладили ласково, Тобушкой, Тобкой называли...

Я любил своего пса, любил, как настоящего доброго друга. Когда меня обижал кто-то, я убежал на задворки, к речке. Спрятавшись в прибрежном ивняке, обнимал собаку и рассказывал ей о горькой несправедливости старших. Тобик все понимал. Он успокаивал, утешал меня, преданно слизывал холодным языком с моих щек горячие слезы. Он ненавидел моих обидчиков. Он готов был вступить за меня... Но утишались страсти, прощались обиды, терялись одни друзья-приятели, появлялись другие. Только собака оставалась для меня прежним верным другом.

Я вырослел, пес старел. И уже не так часто бывали мы вместе.

Окончив школу-десятилетку, я уезжал из дому. Собака оставалась у родителей. Вместе с матерью Тобик провожал меня до железнодорожной станции, и, когда поезд тронулся, он заметался по перрону, залаял, заскулил, бросился за вагоном. Мать поднесла к лицу уголок косынки. Я не выдержал сцены прощания, отвернулся от вокзальных построек и, уткнувшись носом в холодную стенку тамбура, едва сдержал слезы.

Потом я не раз приезжал домой. Тобик встречал меня непременно. Он словно чувствовал мой приезд, издали бросался навстречу, радостно лалял, прыгал на грудь, пачкал лапами костюм. Я не сердился. Я всегда ждал этой встречи с нетерпением. Встречи с моей собакой, с моим детством.

Не стало Тобика, когда я был далеко от дома, в армии.

В тот день наша рота заступала в наряд. В казарме стояли шум и суета. И тут принести почту. Мать писала:

«...А Тобик твой на Троицу попал под машину. Напротив нашей избы и помер. Отец зарыл его за огородами, у больших тополей. Жалко Тобика... жалко. Любили мы его, бестолкового...»

Мне было плохо. Хотелось убежать куда-нибудь ото всех подальше, броситься в траву и никого-никого не слышать...

Проверяя наряд караула, ротный с тревогой спросил:

— Ты что, болен?

— Да нет, товарищ капитан... Друг у меня погиб... собака.

Стоявший позади в шеренге ротный трепач и хохмач Женька Шакин шепнул за спиной на весь строй:

— Птичку жалко...

Я не сдержался:

— Дурак ты, Шакин!

Рядом хохотнули. Но ротный метнул такой взгляд по лицам солдат, что смех тут же стих и строй замер.

После недолгого инструктажа караула командир увел меня в канцелярию. Встретив внимательного и чуткого слушателя, я рассказывал ему о своем Тобике, о нашей деревне, грибных лесах и ягодных болотах. Капитан потянулся за сигаретой, закурил.

— А знаешь, ведь у меня тоже была собака, когда в Сибири служил. Караем звали. Сколько белок, соболей в тайге с ней добыл... Растерзал медведь лайку... С тех пор я охоту бросил... и ружье продал. Не могу с другим псом в лес идти... Не знаю, может, из-за этого и служить сюда перевелся... А места там!.. Нет, не расскажешь... Увидеть, пожить там надо...

Он сидел за столом, мой немолодой уже, седеющий командир, с грустью рассказывал о своей собаке, об охоте, о далеком сибирском крае. Обычно строгий и требовательный, здесь он казался простым и добрым. словно бы и не ротный он был мне, а давний товарищ.

...С тех пор минули годы. Многое забылось, стерлось в памяти. Но о Тобике остались светлые, чистые воспоминания. Я сменил не одну собаку. Жили у меня лайка Кросс, боксер Ким, фокстерьер Ветка. Была и дворняжка Лада. И был еще снежно-белый песик, которого я звал Тобиком. В честь того, первого.

КОЛОТУШКА

Порой мне посчастливится приехать домой, в деревню, в начале—середине января, в святочную пору. Ночи тогда стоят непомерно долгие. Бывает, в высо-

ком холодном небе стынет яркий, пузатый месяц и ясные звезды до того часты, что небосвод кажется сплошь усыпанным ими. Про такую погоду наша бабушка, помнится, говорила: «Ужо к Пасхе куры яиц нанесут... Светлые святки — примета верная». Бывает и наоборот: темень стоит такая, что в трех шагах от своей избы заплутать можно. Но и в ней, этакой темнотище, мудрая наша бабка находила пользу. «С молоком будем, — говорила она. — Дай только Красотка отелится... Темные святки — дойные коровы». Не помню, неслись ли лучше после тех светлых ночей наши пеструшки и рябы, после темных больше ли, чем всегда, давала молока корова. Но помню, помню те чудесные времена бедового мальчишества и словно вновь и вновь своими приездами-урывками стремлюсь возвратиться в них...

Отложив неспешные зимние дела, хорошо выйти в эту пору на колкий морозный воздух, пройти вдоль улицы под окнами домов узкой тропинкой, слушая тишину зимней ночи, наслаждаясь тем, как скрипит под подошвами валенок утоптаный снег — в мире нет других звуков. До полночи еще часа два-три, а будто все спать улеглись — обеззвучилась, обезлюдела улица, хотя вряд ли кто спит сейчас: нет-нет и мелькнет в окнах слабой голубизной свет телевизоров, и не каких-нибудь — с широким экраном... И все-таки, несмотря ни на что, все здесь кажется прежним, ничуть не изменившимся за десятилетия, как-то даже по-особому близким, родным, будто странное чувство ощущения себя вне времени перенесло вдруг в те дни, когда телевизор был диковинной редкостью, и директору школы Сан Санычу Матюшину, единственному из его обладателей, то и дело приходилось выбегать в ночь, в темь из дому, отгонять нас, ребяташек, гроздьями виснувших на окнах, чтобы не оторвали наличников. Но вот Сан Санычу надоест бесполезная беготня, окна сверху донизу завесятся плотным одеялом, и, сколько тогда ни крутись, все равно не увидишь этот чудный серый квадратик домашнего кино, где, как на большой клубной простыне-экране, стреляют из пушек, пистолетов и ружей, скачут на лошадях, один ловко дерется сразу с тремя, где даже целуются в открытую и никакой контролер не спрашивает, есть ли тебе шестнадцать...

Приунывшие, мы пойдем бесцельно шататься по деревне, и тут кто-то вспомнит:

— Рёба, а ведь уже Святки. Айда чудить!

— Айда! — подхватит сразу несколько голосов, толпа собьется в кучу, мигом решит, с кого начать, и дружным табунком сыпанет в дальний край к дому бобыля Гриши Голубца, жившего вдвоем с матерью, древней старухой.

Чудить начинали обычно с него. Дом Голубца высокий, можно сказать двухэтажный, внизу подвал, наверху жилые комнаты. До окон и рослому мужику не достать. Таких домов, старых, добротных, еще до-

революционной постройки было в округе немного. Обшитые тесом, звонким, гремучим, они и привлекали нас в Святки. К тому же Голубец, не как другие, был мужик заводной, крикливый, а в этих-то чертах его натуры была для нас вся прелесть, весь азарт. Другие, понимая, что настали Святки, или вообще не отзывались на наши проделки и приставания, или воспринимали их с шуткой, с юмором: припугнут, не сходя с крыльца, и все тут. Голубец же начнет за святочниками гоняться, выслеживать — нам же только того и нужно.

Самым захватывающим из святочных чудес была колотушка. Громче всего стучала она, конечно, не по бревенчатому срубу, а по тесовой обшивке дома. Из дровяника мы вытаскивали обыкновенное полено, к одному концу привязывали короткую веревочку, к другому — нитку с катушкой. За веревку полено подвешивали к наличнику или ручке подвальной двери, разматывая катушку, протягивали нитку в укромное место к дому напротив, прятались где кто мог, и кто-то, обычно это был Витька Жало, дергал. Полено ухало по тесовой двери — удар его эхом, как в пустом коробе, отдавался во всех углах дома. Раз за разом повторялись удары, грохот все нарастал, и скоро хозяин не выдерживал громкой и надоедливой стукотни. В ночной тишине было слышно, как поскрипывали от его шагов расшатанные ступеньки лестницы — для нас наступал самый острый момент святочных чудес. Что сейчас будет делать Голубец? Он или выматерит нас, сорвет колотушку, или тихо пойдет по нитке, и тогда нужно успеть оборвать ее, с колотящимся хуже колотушки сердцем драпать что есть силы по огородам, к спасительным задворкам.

Однажды мы донимали так Гришу Голубца до самой полночи. Всем уже порядком надоела беготня от него по глубокому снегу, пацаны промокли и один за другим разбрелись по домам. Нас, заводных и настырных, осталось трое: Витька Жало — самый старший, полутораметровый верзила в свои четырнадцать лет, Колька Цыган — прозванный так за темные масляные глаза и черные, как деготь, волосы, и я — младший из них.

Мы дожидались, замерзая в сугробе, когда, сорвав колотушку, Голубец вдоволь наматерится, уйдет домой, и вешали новую. Сидеть за забором, у дома напротив, стало опасно: сорвав с двери полено, Гриша кидал его в нашу сторону, и оно с такой силой грохотало по мороженым доскам, что те трещали. К тому же колотушка могла и перелететь через забор. Тогда Витька Жало приволок толстое веретено с крепкой льняной ниткой, что спряла его мать на дратву для починки валенок. С такой прочной ниткой стучать можно было издалека, не боясь, что Гриша догонит.

Мы протянули нитку через дорогу, в калитку, через весь огород к колхозным гумнам и спрятались в

одном из них, выходявшем воротами в сторону деревни. В выстуженной риге было темно и просторно. Пахло мышами и залежалой льняной головицей. Мы расселись на ощупь, не видя друг друга, в рядок у дальней стены на мягкие кучи обмолоченного льняного вороха, так, чтобы всем был виден дверной проем, и стали помаленьку постукивать, следя за снежным пространством, откуда должен был появиться Гриша Голубец. Вдалеке мутными квадратами светились окна его дома, но самого Гриши пока как было не слышно и не видно. В гумно не задувал ветерок, однако и сухой ворох не давал тепла — от лютого мороза сперва нам стало холодно, а потом мы и совсем продрогли. Хотели уже пойти разведать, что там с Голубцом, почему молчит. И вдруг он появился перед самой дверью и заслонил проем.

— Рви нитку! — не своим голосом завопил Цыган.

— Не рвется, собака! — испуганно взвыл Витька.

— Я вам сейчас живо оборву, мазурики. Уши оборву! — злорадно прохрипел Голубец и ударил чем-то тяжелым по стене.

Мы бросились врассыпную и в суматохе, на свое счастье, вырвали у Витьки веретено. Нитка в руках Голубца ослабла, и он выругался:

— Оборвали, стервецы... Ну ладно, я вас и так достану. Отсюда-то не сбежите... — А ну, выходи! — немного спустя заорал он вдруг страшным голосом, и стало так жутко, что я чуть не промочил штаны.

Ни Витьки, ни Цыгана не было рядом. Я ткнулся где-то в дальнем углу риги, огляделся и ничего не увидел, кроме огромной фигуры Гриши в сером проеме ворот. «Попались! — больно стучала в голове кровь. — У него же топор в руках!» — с жутью в захолонувшем сердце догадался я и почувствовал, что ноги меня не держат. Не было сил даже ползти, а тут еще руки путались в ворохе. «Все, сейчас поймает...» — почти смирился я с плевым своим положением и, оглядываясь на Голубца, все же полз вдоль стены. В темноте натолкнулся на Витьку, напугал его и сам испугался не меньше.

— Тише ты, пентюх, — просипел он сердито срывающимся от страха шепотом.

Испуг мой тут же прошел, я вцепился в его штанину, вдвоем нам уже было не так страшно.

— Да отцепись ты, — снова просипел мне в самое ухо Витька. — Где Цыган?

— Не зна-а-ю, — простучал я зубами, еще крепче держась за его штаны.

Мы были в тот момент как спутники Одиссея, запертые циклопом в пещере. Только Голубец был для нас сейчас страшнее любого циклопа, с топором-то в руках. Он стоял у порога и колотил обухом по стенам так, что не сравнишь ни с какой колотушкой. Цыгана не было слышно.

— Там сломанная половица... есть дырка, — вспомнил вдруг я. — Мы летом лазили...

— Где?

— К двери надо... — выстукивали мои зубы.
— Да не трясись ты! — больно толкнул меня в бок Витька. — Ползи вперед.

— А Цыган?

Витька выругал Цыгана — я слов не разобрал, но понял: по-матерному.

— Выходи! Кому говорят? — ругался в воротах Голубец. — Не выйдете, так дверь запру... запалю.

Я представил, как он захлопывает ворота, подпирает их снаружи колом, и красный огонь, сплетаясь с клубами густого, едкого дыма от горящей льняной головыцы, лавой ползет к дальним углам, к нам. Мне стало опять очень страшно, и я беспомощно пролепетал:

— Вить... Вить...

— Не бойся, не запрет, — успокоил приятель. — Двери-то нет. На арапа взять хочет...

Ворот у риги действительно не было. Как сняли их осенью, когда головуцу с поля возили, так и оставили на земле. Снегу теперь на них намело-навалило столько, что не только достать и навесить, а и найти, где лежат, невозможно. И все-таки мне было боязно после Гришиной угрозы.

— А зажжет?..

— Не зажжет, испугается... Его ж за это в тюрьму посадят. Давай лучше Цыгана искать...

— Шепчетесь, сволочи... Я вас! — не унимался Голубец.

— Ползи вдоль стены, по сторонам шупай, — шепнул Витька, и мы двинулись вперед, держась за руки.

Ворох под нами шуршал так громко, что казалось, будто это с треском ломается сухой хворост. Мы проползли вдоль дальней стены и повернули в сторону Голубца. Становилось все страшнее. Рука моя наткнулась на пролом, я обрадовался и дернул Витьку. Он сразу все понял, ощупал дыру, но лезть в нее не спешил.

— Надо Цыгана искать, — услышал я его шипение и почувствовал, как он с силой потянул меня к противоположной стене.

Было страшно уходить от спасительного лаза, ползти под самым носом Голубца, ожидая, что тот вот-вот зашибет тебя топором. Но я уже немного привык к опасности. Не хотелось, к тому же показывать свою трусость. Пересилив себя, я пополз вслед за Витькой.

Теперь мы прочесывали ригу вдоль стены в обратном направлении. Было темно — глаз выколи. Луна висела с другой стороны сарая, свет ее не падал прямо в дверной проем, не мог он проникнуть и сквозь глухие бревенчатые стены. Это нас и спасало: если мы молодыми глазами не могли ничего разглядеть в темноте, то куда же было увидеть что-либо Грише с его близорукостью и очками с выпуклыми, как у карманного фонарика, линзами.

В другом конце риги вороху не было. Голый, избитый тележными колесами пол цеплялся за одежду, в наших телогрейках и штанах, на рукавах и коленях

застревало множество заноз. Тяжелая пыль забивалась в нос и противно щекотала. Неудержимо тянуло чихнуть. И Витька чихнул. Голубец в ответ на это сыпанул отборной руганью и застучал по стене свирепее прежнего.

Однако нечаянный Витькин чих облегчил наши поиски. Цыган, услышав его и чуть переждав, пошел в нашу сторону. В темени он двигался на ощупь и наступил мне на пальцы. Хорошо, что рука была в толстой шерстяной варежке — сильной боли я не почувствовал. Цыган же сообразил, что это мы, присел на корточки:

— Во дурачье, что вы ползаете? Вставайте!

Мы поднялись и гуськом вдоль стены прошествовали к лазу. Я полез в дыру первым и, царапая лицо о какой-то жесткий мороженный сор, путаясь в липкой холодной паутине, противно таявшей на лбу, на щеках, полз через все подполье на лунный свет, пробиравшийся в щель между сугробом и срубом. Разгреб снег, вылез из-под сарая и оказался на свободе. После кромешной тьмы риги глаза не сразу привыкли к яркому свету луны, заливавшему снежное поле. Наконец я различил в стороне спасительные кусты, хотел драпануть к ним, и только мысль о предательстве и трусости удержала меня. Витьке и Цыгану пролезть под полом было труднее, чем мне, шуплому, юркому. Но вскоре и они друг за другом, запыхавшиеся, в космах паутины и сора, выползли наружу. Не передохнув, стороной огибая гумна, через кусты мы уходили от злосчастной риги, чуть не ставшей для нас ловушкой, и скоро вышли на укатанную тракторными санями, скользкую дорогу, побежали, покатались по ней и оказались у края деревни. Тут нас разобрал такой смех, что животы чуть не лопались от боли. Мы хохотали, валялись в снегу, дурачились, подражая голосу Гриши, однако старались очень-то не шуметь.

— Слушай, рёба! — воскликнул Витька. — Айда еще почудим. Доведем Гришу до кондрашки!

— А что? Айда! — подхватил Цыган, и мы, не сговариваясь, но, поглядывая по сторонам, побежали к Голубцову дому.

Наше полено целехонькое висело на подвальной двери. Витька подхватил нитку, мы прошли по ней через дорогу в глубь огорода. Прислушались. У гумна Гриша все еще орал и ухал топором по стенам пустой риги. Витька достал складник, зубами открыл лезвие и, перерезав нитку, потянул ее назад.

Оказавшись снова на улице, мы провели нитку так, что от колотушки она уходила к столбу, а от него под острым углом в заулочек соседей Голубца Барминых, к колодцу. Отсюда хорошо была видна калитка, из которой должен появиться Гриша, просматривалась дорога и вся противоположная сторона. Спрятавшись за коробкой колодезного сруба, мы потянули и тут же отпустили нитку — колотушка ухнула по тесу Голубцова дома. Потянули еще и еще раз — колотушка задорно отзывалась. А Голубцова старуха,

наверное, думала-гадала, куда это запропастился ее сын-бобыль, и боялась выйти из дома, лишь прокричала из сеней:

— Григорий, ты здесь? Где ты, Григорий?

Сам же Голубец, заслышав в гулком морозном воздухе стук, пробирался к деревне, видно, все еще надеясь поймать и надрать нам уши.

...Азартно стучала, грохотала по звонкому тесу колотушка, в такт ей замирали, трепыхались наши сердца, ожидая новой погони, новых страхов и приключений в эту короткую пору Святков, пришедших к нам из далеких времен язычества от наших пращуров.

ВАТРУШКА С ЧЕРНИКОЙ

Каждый год на Октябрьские праздники Ефросиния уезжала к сыну в город. Собираться она начинала задолго, еще с лета. Если выдавалась хорошая погода да у нее самой была мочь — не ныла спина, не болели ноги, брала в сенцах корзинку и, крикнув соседке, совсем высохшей старухе, чтобы присмотрела за домом, за огородом, ребянтю, если полезет на грядки за огурцами, шугнула бы хворостиной, отправлялась в Вешкин бор за черникой.

Заходить далеко, где черным-черно от крупной, рысистой ягоды, Ефросиния не решалась. Бродила по закрайку леса среди мятого, ломаного черничника, находила необобранный куст, пропущенный ягодниками и ребятишками, опускалась коленками в мягкий мох или на теплую хвою и обирала каждую веточку до ягодинки. Жесткие, заскорузлые пальцы, когда-то привычные к этой нехитрой работе, слушались плохо. Ягоды выпадали в куст, тонули во мху, давились, выпуская темный, как чернила, сок и густую бордовую мякоть.

За два-три часа ползания по черничнику Ефросиния все же наскребала по таким небогатым местам полную корзинку, выходила на дорогу и, прежде чем отправиться в обратный путь, садилась где-нибудь на прогретом солнцем местечке на пенек или поваленное дерево отдохнуть.

В эти недолгие минуты, выбирая из ягоды рыжие хвоинки и махонькие, не подававшиеся пальцам, листья черничника, она вслух размышляла:

— Райке, снохе, бидончик на кисель отсыплю. Совсем мужика заморила — тощей, как жердь, ходит. У плиты постоять, сготовить чего — все ей некогда... Губы красить, кудри вить найдет время, а мужика, ребятишек как следует накормить некогда. На сухих супах семью держит, а глянешь в кастрюли, попеняешь, так губы дудкой... Мое-то дело что? Сторона мое дело. Да ребят, Юрку жалко... По его-то работе разве такой харч нужен? Яиц бы, мяса... А они всех курей со двора свели, про поросенка и не говорю... Все на мать надеются...

Никто Ефросиниевых разговоров не слышал. Тихий лес, тихий ветер скрывали ее шепот, оставляя старуху наедине со своими думами. Пискнула где-то невидимая лесная птаха, Ефросиния смолкла, оборвав себя на полуслове, перекрестилась мелкими крестиками, подхватила корзинку с ягодой и заторопилась домой.

Дорога знакома ей до каждой выбоины в накапанных колеях, каждого поворота, каждого дерева на обочине. Вон тропинка по правую руку дугой завернула в сторону, к Троицким хуторам. Совсем заросла тропинка, а лет двадцать тому, после войны уж, хорошей дорогой была. Покосы там колхоз выделял. И по сей день помнит то лето Ефросиния. Намалялись они тогда вдвоем со старшим, Виктором, вот намалялись. Муж-то, Кирилл, — какой косец из него, на фронте контуженного — только что косы отбить да навести оселком жало, а так все вдвоем с сыном. И дожди, как прорвало небо, непроглядно лили, а надо на двух коров накосить, высушить, в стога сметать сено, исполу ведь давали: стог себе, стог колхозу. Нынче что не косить! Прошел трактором с косилкой — целую палестину махнул, гладко, чистенько. А еще лучше — подборщик пустить. Готовые кипы. А тогда сколько травы в прокосах погноили, осенью до белых мух на вешалах сушили, присаливали, чтобы не загорелось сено...

— Такую даль да исполу косить ходили... Нынче под боком все зарастает, пропадает. Давно бы скосить, скопнать, на сеновал убрать, а никому не нужно, — думает вслух Ефросиния и не замечает этого. — Пред на сходе толковал давеча: «Берите, все по кустам обкашивайте...» А кому надо? Пять коров на деревне. Смех один, а не стадо. Раньше хоть колхозный скот здесь нет-нет прогонят, а нынче и его нет, всех свели в Полужье, в большой коровник полтыщи голов поставили...

Не заметила Ефросиния, как к деревне вышла. Услышала гул лесопилки, подняла голову — до дома рукой подать. Солнце за спиной к лесу клонится. Трясогузка скачет по растрескавшейся грязи в давешней луже. Седая от пыли трава сохнет по придорожью. Скоро вечер, а на улице ни души, как вымерло все, все на работе.

Узким заулком Ефросиния прошла к своему крыльцу, к задней избе. Мимоходом глянула на дверь передней — на замке. Корзинку поставила под окном на скамейку, торопилась — даже в сени заходить не стала, сразу в огород.

Набрала в приземистой кадушке полную лейку теплой воды, полила свою грядку с огурцами. Грядка махонькая — три шага вдоль, шаг поперек. Вон сноха-то какую грядищу огурцами засадила! Засеять-то засеяла, а ухаживать — рук нет. Плети уж пожелтели, от жары повалили.

Вспомнила недобрым словом сноху да заодно уж и переносила воду из кадушки на ее грядку. Кончила

дело, огляделась: не видит ли кто? И сплюнула от досады. Перед соседями стыдно — родной сын отделился. Глухую стенку поперек избы и сеней поставил, дверь отдельную прорубил, крыльцо к ней пристроил.

Уж три года как, а вспомнит Ефросиния — и кольнет каждый раз в груди, простить этого раздела ни снохе, ни сыну сердце не может. К Виктору в Питер каждую осень ездит, а ни слова ему об этом. Горяч старший сын, крут — как-то он на такое дело посмотрит? Да и к чему между братьями вражду разводить? Много ль ей самой надо? И так, в бывшей кухне, доживет свой век. Немного, чай, и осталось, восьмой десяток летось разменяла. Эх, хе, хе, никто и не вспомнил об этом, не почествовал мать. Старшая сноха только через месяц, что ли, шерстяную косынку прислала и то так, по случаю. Младший вон, под боком, за стеной живет, а слова приветного не сказал в юбилей матери. Конечно, какие ей юбилеи, а все ж обидно... Обидно за Юрку, горько. Хороший был сын, ласковый, и любила она его, своего последыша — уж сорокалетней выносила, — пуще старшего сына. А женился — как другим стал. Хватит лишнего — скандалит, кулаками грозит. На родную мать с кулаками! Сноха все, сноха нашептывает. Окрутила совсем, в ежовые рукавицы взяла мужика. Она, она раздел этот учинила. Стыдобушка-то для Ефросинии какая! На старости лет сын родной в закуток, в темный угол загнал, со свету сживает...

Бойтся Ефросиния, что Виктор приедет, обо всем узнает. Давно уж, который год, собирается. Да все не соберется никак: то на курортах, то в заграницах на каких-то песках отдыхает... А домой... Уж лет десять как дома, в родной стороне, не был. И хочется матери, чтобы приехал старшой погостить, и звать его понастойчивей страшно. Чего доброго, в кулаки сыновья сойдутся, за ножи схватятся.

Недолги дела в огороде, скоро управилась Ефросиния. Провясть бы ягоду надо, да ветерка совсем нет, тишь и сушь стоит вторую неделю. Воды вскипятила на плитке, крепкого, одной заварки, чаю напилась, со стола тряпкой смахнула, села перебирать чернику. По ягодке, по ягодке скатывала из горки в блюдо, ссыпала, чистые, на противень — для просушки и в алюминиевый таз — на варенье.

Слышала, как пришли с работы сын со снохой, как голосисто, что осенние петушки, внуки на переднем крыльце прокричали. Но никто не зашел к Ефросинии. Хотела было сама пойти к ним, будто телевизор посмотреть, да тут же раздумала. Уже потемному вышла на улицу, поставила бидон с черникой у двери снохи: «Пойдет на огород утром, увидит, чай, киселя сварить догадается...»

Засыпала Ефросиния, как всегда, медленно, ворочалась, охала в полудреме и, когда сон, тяжелый и беспокойный, наконец одолел ее, показалось, что за окном зашумело что-то, свет ли, молния ль по стене

мелькнула. Но усталость так придавила к постели, что ни головы поднять, ни подумать: отчего, что за шум — не хватало сил.

Стук в дверь разбудил Ефросинию. Стучали настойчиво и, видно, давно. Она живо соскочила с кровати, кинулась было к двери, но на полпути замерла. Расслышала на крыльце Юркин голос, подумала, что опять сын пьяный, но не побоялась, босая вышла в сени, откликнулась:

— Что, Юра? Чего тебе?

— Открывай, мать, — гости. Витька приехал.

Ефросиния не успела ни обрадоваться, ни испугаться. Только ойкнула и села на холодный порог.

— Чего ты, мамка? — торопил за дверью младший. — Стучим, грохочем — никакого толку...

— Я сейчас, сейчас, деточки! — впотьмах направила на стене какую-то ветхую шаль, укуталась в нее, выключателем щелкнула.

На крыльчке стояли трое. Правда, третьего Ефросиния не разглядела сразу. Обняла Виктора, трижды чмокнула в волосатую щеку, в бороду.

— На юг вот с приятелем собрались. Мимо проезжали, к вам завернуть надумали. Крюк-то невелик — час езды по сухой дороге. Познакомься, мам, товарищ мой — Сергей... Сергей Павлович, — прохаживая в сени, сказал Виктор.

Голос его звучал глуховато.

Гости зашли в избу, неловко как-то сели у окна. Юрий только порог переступил, встал у притолоки, облокотился на нее плечом, курил.

Ефросиния наскоро прикрыла мятую постель одеялом, откинув легкую от многих стирок занавеску, проскочила в тесную кухню, хлопотала там, готовя поесть. Ей было радостно и тревожно — свалился Виктор нежданно-негаданно, как снег на голову.

— Надо бы обмыть, братан, встречу, — сказал Юрий. — Пойду потрясу Райку. У нее, кажись, есть в заначке поллитра. Расколется — все же брат приехал...

— Не надо, у нас своя найдется... Садись к столу. Что у двери топчешься? Садись, в ногах правды нет. — Виктор обвел глазами комнату. — А и сесть-то негде...

— Да... у мамки только две табуретки. Пойду принесу стулья.

— Ну что вы, зачем? — вскочил с места Сергей Павлович. — Я постою... Я и так могу, за рулем насиделся... Или вот на кровать... Ефросиния Ивановна, можно туда вот присесть? — нерешительно показал он на постель.

— О чем разговор! Садитесь, где нравится, — взглянула из-за перегородки Ефросиния. — Гости вы аль нет? Не обессудьте, что тесно у меня. Может, стол-то к кровати выдвинуть?..

— И то дело! Прекрасная мысль, — поднялся Виктор. — Бери, Серега, стол... Да не торцом ставь, вдоль — так свободнее. Эх, дожили, в таком доме места не стало, — криво усмехнулся он.

Ефросиния застелила стол чистенькой скатеркой, выставила хлеб, огурцы, политую маслом картошку. Гости достали пару бутылок «Столичной», круг колбасы, консервы. В молчании, как на поминках, опорожнили одну поллитровку. Виктор закурил, прищуренным взглядом, в котором уже заиграл хмель, поглядывал на брата. Мать глаз не сводила со старшего — сразу заметила в его прищуре недобрый огонек. Так, бывало, у Кирилла выплескивалась наружу носимая в сердце тяжесть — прорывалась взглядом, окриком, кулаком. Нехорошо Ефросинии стало, как-то невпопад дернулась она всем телом к старшему:

— Что молчишь, Витя? Сидишь прям, как бирюк лесной. Дома какие дела, дети как, Вера?.. Сказывай!

— Дома все нормально, — веско процедил сын. — Вот здесь дома, у вас, я вижу не все нормально. И помалкиваете...

— А что у нас? У нас все в норме. Скажи, мамка? Вот только колбасу редко видим, — с издевкой сказал младший и взял с тарелки кусок колбасы, пожевал, причмокивая. — Хороша...

— Да я не о колбасе... Что ж ты, брат, так мать обижаешь? Загнал в закуток, а сам живешь баринном...

— Ну... до барина мне, как тебе до министра... А насчет жизни — своей семьей живу. Ты ведь тоже своей живешь?..

— Да будет вам, ребята! — засуетилась, замахала руками Ефросиния. — Никто меня не неволил. Сама отдала переднюю. У Юры семья, ему нужнее...

— Право, мужики, давайте-ка выпьем. Что вы надулись, как пузыри? — суетливо взялся за бутылку Сергей Павлович. — Братья, чего вам делить... Мне бы сейчас хоть какого-нибудь братишечку, я бы его на руках, как ангела, носил. Ну, взяли?

Выпили, потолковали о разном — колбасе, грибах, машинах, квартирах, — и снова Виктор кольнул брата:

— Что ж от матери-то отделился?

На этот раз Юрий вспылил.

— Ты что тут меня жить учишь? — грохнул он кулаком по столу. — Много вас таких аспирантов-доцентов! Бороду отпустят и уж корчат из себя этиких чистеньких, благородненьких... А мы сами жить хотим, по-своему! Ты мне указ, да? Ты в своем загашнике вшей ищи, а в наш не суйся, сами как-нибудь разберемся.

— Ты погоди, погоди горячиться. Давай по-хорошему, как брат с братом, разберемся, — привстал Виктор. Он, видимо, не ожидал такого поворота и даже заметно растерялся.

— Что мне годить? Мне годить нечего. И разбираться тоже. Живем как знаем. Учитель тоже нашелся! Учить-то мы все шустренькие... А ты в который раз домой приехал? Картошку посадить, убрать, дров наготовить хоть раз помог матери? Только брать го-

разды... Мать, дура, каждую осень корячится — грибы вам прет, ягоды, яблоки, картошку мешками, а вы конфет коробку пришлете к празднику и здарсьте — умыли ручки! Ты приехал проведать ее прошлой зимой, кружку воды подать, когда целый месяц пластом лежала? Приехал? Мы тебе ведь писали!.. Я, такой-сякой, сукин сын, в закуток мать родную загнал... Не по нраву, так забирай ее к себе в Питер, насовсем, со всеми манатками! Хвастал сейчас: квартиру новую получил — небось найдешь для родной матери угол... Академик хренов! — Юрий выскочил из-за стола, метнулся к порогу.

Глухо ухнула дверь. Виктор сидел сам не свой. Его приятель, напуганный скандалом, не знал, куда себя деть, сидел с растерянным, побледневшим лицом.

— Что ж вы, ребята, так оскандалились? — качала головой мать. — Эх, ребята, ребята...

Молчал Виктор, молчал Сергей Павлович. Докурили, засобирались спать. Ефросиния хотела устроить гостей на ночлег в избе, застелить на своей кровати, но те заупрямились, спать захотели на сеновале. Там лежало с копешку сена, скошенного Ефросинией на меже, в огороде. Застелили его старыми телогрейками, пахнувшими нафталином одеялами и простынями, вынутыми по такому случаю из сундука, и гости улеглись.

— Только не курите, ребята. Неровен час — залетит куда искра, беды не расхлебашь, — попросила Ефросиния.

Она ушла к себе, в избу, но так и не смогла заснуть до самого утра. Лежала с открытыми глазами, думала, как несуразно все получилось, и чего сыновья не поладили, чего не поделили?

Поднялась она еще до солнца, захлопотала у печи, стараясь сготовить гостям завтрак получше. Трещали в топке дрова, горела в руках работа, но нет-нет да и выскальзывала из рук тарелка, падал нож на пол.

Уж и утро вовсю разгулялось, и пружинистые солнечные лучи, пробившись сквозь оконное стекло, золотили румяные корочки пирогов, и давно поспел самовар — стоял на столе, попыхивал, гудел не по-хорошему, а гости все отсыпались. Ефросиния извелась вся от ожидания, но будить их не решалась. Взяла ведра, коромысло, отправилась за водой на колодец. Колодец-то недалеко — через две избы, да встретила по дороге одну соседку, другую, поделилась новостями о приезде сыне, просудачила о покосе, ягодах и задержалась. Вернувшись, услышала в сенях разговор, невольно остановилась, прислушалась.

— «Возьми, возьми!..» Ну что ты городишь, Серега? Тебе легко рассуждать, ты сирота детдомовский... Куда я ее возьму? Меня ж моя сожрет с подметками. Кому охота за стариками, тем более чужими, убирать? — горячился Виктор.

— А что же ты брату тогда пенял?

— Ну, пенял, пенял... Не подумав...

Ноги у Ефросинии ослабли, подкосились. Она чуть не выронила полные ведра и, чтобы не слышать больше этого разговора, поддела попавшуюся под ногу пустую консервную банку. Та покатила по заулку, загремела.

Уезжали гости в полдень. На дорогу Ефросиния набрала им с грядки полведра свежих пупыристых огурцов, насовала в пакет пирожков, сунула в сумку две литровые банки с вареньем. И когда сын, обняв ее, уже захлопнул дверцу машины, вдруг спохватилась:

— Витя, Витя! Пирог твой любимый, ватрушку с черникой, забыла. Ты погоду, погоду — я мигом!

«ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»

Проснулся Ванюха от сильной головной боли. Вишки давило так, будто голову зажали в тиски и теперь упорно накручивали их рукоятку. Внутри все горело, словно залили в горло, в желудок горячего кипятку. Во рту было противно от перегара. Хотелось пить.

— Шурк, а Шурк, — хрипло позвал Ванюха. — Шурк, ты спишь?

— Уснешь тут с тобой, ирод несчастный! Налил бельма-то до одурения, спать никому не даешь, в стенку колотишь, — недовольно проворчала за тонкой дощатой переборкой жена, и Ванюха тупым с похмелья сознанием сообразил, что она устроилась на ночлег у детей, в малой комнате.

— Ладно, Шурк, не блажи. Принеси попить — помираю, — примирительно попросил Ванюха, повернувшись на бок, лицом к перегородке, за которой находилась жена.

Он слышал, как зашлепали там по полу босыми ногами. Щелкнул выключатель, яркий свет двухсотсвечовой лампочки резанул по глазам. Ванюху ослепило. Он крепко зажмурился, сердито повысил голос:

— Выруби свет! Кому сказал? И так голова раскалывается.

— Я тебе вырублю, пьянь подзаборная! — на крик перешла жена. — Ишь до чего нажрался — помирать собрался. Да еще в грязных штанищах на чистую постель завалился. Снимай с себя еноты, ирод проклятый! Раздевайся!

Открыв глаза, Ванюха чуть привык к свету, разглядел жену, стоявшую перед ним в длинной, колоколом сидевшей на крупном, литом теле, ночной рубашке, ее мятое со сна, обезображенное криком лицо, злые глаза, в которых не было ни капельки милосердия и жалости. Он побаивался ее такую, особенно в своем теперешнем состоянии — завалился на кровать в одежде. Она этого терпеть не могла. Сказал примирительно:

— Ну ладно, Шур, не кричи. Сейчас разденусь. Сколько там времени?

— О времени вспомнил, — поубавила тон жена. — Двенадцатый час ночи. Ребят спать уложила.

— Спать уложила, а сама кричишь на весь дом, — будто в свое оправдание не замедлил упрекнуть ее Ванюха и тут же поспешил перевести разговор: — Козу-то кормила?

— Нет, тебя ждала, ждала, когда проспишься, — ехидно затрясла жена головой, отчего он понял, что коза накормлена, в хозяйстве порядок.

— Да ладно, Шур, не кипятись. Сейчас встану, разденусь. Все путем будет.

Потянувшись крепким, сильным телом до хруста в костях, Ванюха рывком бросил ноги на сторону и, подкинутый кроватными пружинами, легко вскочил. Молодым козлом попрыгал перед женой, выгоняя из тела остатки сна и лени и будто показывая ей: смотри, мол, какой я ловкий и бодрый.

— У, кровопиец, — уже совсем без злобы сказала жена. — Нет тебе никакого износу: ни вино не берет, ни бабы, — и ушла к детям, за переборку.

Не обуваясь, Ванюха шагнул на кухню, снял с гвоздя ковш, висевший над баком с водой, глубоко зачерпнул и на одном дыхании осушил его. Теплая вода не уняла жажды, но вызвала голод. Он достал из холодильника кастрюльку с супом, рукой выловил из него мясистую куриную ногу, которую обычно не крошила, оставляла ему жена, отломил от буханки хлеба верхнюю корку с ладонь величиной и, с аппетитом чавкая, съел все это. Насытившись, он снова попил воды из бачка, не спеша выкурил пару сигарет и босой же отправился на двор, намереваясь проведать козу и справить нужду.

Учув хозяина, звякнул цепью пес, вылез из конуры и, хорошо потянувшись, как недавно сам Ванюха, заскулил, радостно забил о землю хвостом, просясь на волю.

— Сейчас, Дозор, спущу. Тихо! Сидеть! — прикрикнул на собаку Ванюха, отстегивая карабин, и радостный пес метнулся по заулку, в один миг обежал дом и вновь завертелся под ногами хозяина, щекая ему щиколотки влажной шерстью и жарким дыханием.

— Ну, отстань, отстань. Кому сказал? — стоя лицом к углу дома, Ванюха несильно оттолкнул пяткой собаку.

Пес принял толчок за игру и так же несильно ухватил того зубами за ногу.

Справив необходимое после сна дело, Ванюха включил свет в заулке и направился к сараю, стоявшему позади дома. Коза услышала его издали, застучала копытами по дощатому полу, как затанцевала на каблуках, и, когда Ванюха открыл дверь, застригла губами у его пальцев, ища подачки.

— Пустой, пустой я, Астра, — ласково сказал Ванюха, теребя на холке козы жесткую, как проволока, шерсть. — Так, травы тебе дали, — заглянул он в ясли. — А воду ты уже пролила. Эх ты, коза-егоза! Ладно, сейчас зачерпну.

Он взял ведро и вышел из сарая. Пес, приученный не входить внутрь, сидел у порога и при появлении хозяина нетерпеливо заколотил хвостом.

— Тоже пить хочешь? — спросил его Ванюха и направился за сарай к водосточному баку.

Не дойдя до угла, он заметил розовые отсветы на небе и чертыхнулся:

— Никак пожар?

Вдалеке, за темным нагромождением крыш, полыхало небо. Отблески пламени вспыхивали в черных окнах домов, и стекла отражали свет, яркий, как начищенная речным песком медь. Ночной покой почти не нарушался звуками, лишь разгоравшийся пожар вносил сумятицу в тишину поселка, и, охваченные ею, уже вспыхивали тут и там ровным электрическим светом окна.

Ванюха простоял с минуту у сарая, бестолково созерцая захватившую его картину пожара. «Что ж я стою? — вдруг сообразил он. — Надо людей поднимать». Бросил под ноги пустое ведро, звякнувшее звонко о плотную землю, кинулся было к калитке, на улицу, но, вспомнив, что босой, и быстро смекнув, что босиком далеко не пробежишь да и людей насмешишь, повернул назад, в два прыжка одолел крыльцо, со всего махушибанул дверь, влетел в кухню.

— Шурка, горим! — громким шепотом прошелестел он, боясь разбудить детей. — Где мои сапоги? Сапоги дай!

— Да что ты там впотьмах шарить? Свет зажги, — будто не слыша тревоги мужа, отозвалась с постели жена.

Ванюха чертыхнулся, привычной рукой нашел выключатель, шелкнул им, сразу увидел свои сапоги, брошенные около умывальника. Тут же валялись скомканые портянки. Он подхватил табурет, сунул его себе под зад, быстро накрутил одну за другой портянки, пристукнув каблуками об пол, опробовал прочность обуви на ноге. Жена не появлялась из комнаты, и Ванюха быстро зашел к ней, тряхнул за плечо.

— Горит что-то. Я на пожар побежал.

— В башке у тебя горит. Отстань! — Жена сбросила с плеча его руку. — Допьешься до чертиков — сам сгоришь.

— Да говорю же тебе — пожар! — Ванюха толкнул жену в бок и выскочил за порог.

Он не видел, как она следом за ним вскочила с постели, отдернув занавеску, кинулась к окну, за которым все выше и выше поднималось зарево пожара.

«Пешком пока добегу, — подумал Ванюха, слетев с крыльца. — Надо бы на велике, быстрее будет». Он выкатил из сарая велосипед, вскочил в скрипнувшее под тяжестью тела седло и прямо из заулка вырулил на дорогу. Мимо него метнулась собака и скрылась впереди в ночной темени. По дороге уже бежали на пожар люди, и Ванюха, нажимая на педали, обгонял их, порой чуть ли не натыкаясь и не сбивая. Держа

путь на зарево, он выехал к центру поселка на освещенные улицы и, поняв, что горит где-то у Слуг, погнался быстрее.

Слугами в поселке называли небольшую улицу из аккуратных одноэтажных коттеджей, где проживало районное начальство. Возводить ее начали ранней весной, когда на выборах мэра одержал победу пришлый «варяг» и привез в район команду из своих людей. Новое руководство быстро навело новые порядки. За одно лето на пустыре невдалеке от центра поднялись и благоустроились опрятные домики из сборного бруса. Были в них все мыслимые удобства: водопровод, газовое отопление, ваннные комнаты и теплые туалеты, подключенные к общей канализации. Секрет столь ускоренного строительства оказался довольно прост. Новое начальство остро нуждалось в жилье и, проживая по первости на частных квартирах, решило эту проблему радикально и смело: строители, третий год корпевшие над домом в пять этажей на девяносто квартир, были срочно сняты с долго строя и направлены на новый объект. Ванюха оказался в комплексной бригаде, где почти каждый был и плотником, и каменщиком, а он к тому же и электриком, и сантехником. На новой стройке работалось весело, с материалами и оборудованием задержек не было. Откуда что и бралось: еще не возвели и стропил, а на объект уже прибыл шифер, не успели начать отделочные работы — в ящиках, скорее похожих на кованые сундуки, поступила импортная сантехника. Прораб, вертлявый, заносчивый суетой мужик, наряды закрывал честно. Да и к чему было ловчить: по полтора-два плана гнали, опережали все графики. Будто стосковавшись от безделья, дорвались до настоящей работы, и строители хотели показать, на что способны, удивить всех невиданными темпами. Только некоторые «юмористы» в бригаде посмеивались:

— Наддай, народ! Для кого строим? Для слуг своих...

Благодаря таким ударным темпам к осени в нескольких домах уже справили новоселье и часть бригады, чтобы простой народ, ожидая в очереди на жилье, не сильно роптал и не клял демократию, вновь перекинули на долгострой-пятиэтажку.

Треск горящего дерева был слышен издали. Его не заглушали ни крики людей, сбившихся у пожара в нестройную толпу, ни вой двух пожарных машин, стоявших нос к носу и с надрывом нагнетавших воду в бьющие свистами круглые и длинные, как жерди, рукава. Ванюха, тормознув на полном ходу, чуть не впоролся в толпу, зацепив передним колесом толстую женщину в светлом плаще. Та взвизгнула тонким, как у девочки, голосом и отскочила в сторону. Оглянувшись, хотела, видно, что-то высказать в недовольстве, но Ванюха опередил ее, ругнув:

— Не бузи, триперда!

Пламя уже целикомхватило крышу коттеджа, и раскаленный шифер лопался с таким оглушитель-

ным треском, будто туда, в самый жар, всыпали ящик снаряженных охотничьих патронов. Острые куски шифера вылетали из пекла, и толпа, окружившая пожар плотным полукольцом, боясь пораниться, шарахалась в сторону и отступала на безопасное расстояние. У машин суетилась, путаясь в брезентовых рукавах, горстка пожарных и два-три dobroxota, вызвавшихся помочь им. Из толпы долетали насмешливые выкрики:

— Сгорит все дотла, пока вы тут кочегарите...

Наконец нашли в водопроводной сети гидрант, подключили к нему еще один рукав, и отлогая струя ударила по огню, вызвав россыпь искр, столбом взметнувшихся вверх и в стороны.

— Ну кто ж так тушит? Пожарники... — заорал из толпы Ванюха и огляделся, отыскивая место понадежней, где бы можно было оставить велосипед.

Ему не терпелось самому поскорее вступить в схватку с огнем, показать бестолковым пожарным, как надо действовать, и себя, конечно, показать. Не найдя подходящего места, он, не долго думая, оттащил велосипед в сторону и бросил к заборчику.

Пожарный и один из dobroxotov едва управлялись с тугим, напряженным рукавом. Он выгибался в их руках упрямым, сильным удавом и выбрасывал воду то в самое пекло, то вверх, через пламя, за горящий дом.

— А-ну потеснись, бойцы! — крикнул Ванюха и ухватился спереди шланга за брандспойт. — Вниз жми, выгибай, бей под пламя. По углям бей!

Струя ударила по горящему краю стены, и густой дым, выбившийся из-под нее, задавил верховое пламя. Искры уже не вылетали, лишь кое-где шелкал и отскакивал раскаленный шифер.

— Во-во, давай! Так его, так! Понизу, понизу бей! — командовал Ванюха, ловко управляясь с брандспойтом.

Тем временем размотали, соединили с гидрантом еще один рукав, и начальник караула, подскочив к пожарному из Ванюхиной команды, указал ему на свободный конец шланга. Тот кинулся исполнять, а доброволец, видно, приняв приказ на свой счет, бросился следом за ним. Ванюха, оставшись один на один с брандспойтом, не удержал его, и его потащило в сторону. Но никто из пожарных в спешке не заметил этого и не пришел на помощь. Ванюха уперся ногами в землю, с силой выправляя струю на огонь, но фонтан бил мимо и вода не достигала горящего дома. Ванюху всего залило, сухой нитки не осталось на теле, и он, обозлившись на свою беспомощность, крикнул, отвернув от еще яркого пламени лицо к темной толпе:

— Граждане! Товарищи! Помогите кто-нибудь!..

Люди, сбившиеся растерянным табуном, шелхнулись, но никто не вышел помочь.

— Да помогите же вы, люди! — снова прокричал Ванюха, не видя охотников.

— Ничего, Демид, держись! Медаль схлопочешь... отважную, — крикнул кто-то из толпы и загоготал.

Голос Ванюхе показался знакомым, и он, обернувшись к толпе, хотел разглядеть крикнувшего про медаль, узнать и пристыдить. Но в темной людской массе невозможно было разобрать лиц, пламя высвечивало лишь желтые расплывчатые пятна. «Какая, к черту, медаль, — подумал он, — когда все горит! Я строил-строил, работал-работал, а все сгорит... Коту под хвост все, весь мой труд». Ванюхе стало обидно. Он почувствовал, как нарастает в нем злость и приливает сила.

— Ах вы, сукины дети! Медаль? Да? — заорал вдруг он и, подавляя силу воды своей озлобленной, взматеревшей силой, вывернул, согнул брезентовую жердь пожарного рукава, ударил тугой белой струей в самую гущу толпы.

Народ ахнул и шарахнулся в сторону, крики, визг и ругань подавили шум пожарных машин и треск огня. Ванюха торжествовал и, довольный, вывернул струю на огонь.

Пожар потушили к полуночи. Уже в темноте Ванюха отыскал свой брошенный велосипед и с чувством хорошо сделанной работы покатыл домой.

На следующий день к строящейся пятиэтажке, где работал Ванюха, к обеду подкатил на желтом мотоцикле участковый,

— Эй, Демидов! — крикнул он. — Поехали!

— Куда? — поднялся Ванюха, оставив термос и булку.

— К начальнику, — сказал милиционер. — На тебя заявление с кучей подписей. Что ты там натворил вчера на пожаре?

— Огонь тушил, — оробел Ванюха.

— Ну вот, дотушился! — усмехнулся младший лейтенант. — Суток пятнадцать схлопочешь...

— За отвагу на пожаре, — вставил кто-то из строителей, и вся бригада рассмеялась.

Ванюха собрал в пакет остатки обеда и хмуро поехал к милицейскому мотоциклу.

ТОПОЛЬ, КОТОРЫЙ ВСЕ ПОМНИТ

Снег только что стоял. Лишь кое-где он серел льдистыми островками в канавах и вдалеке, в глубине голого леса. Влажная, еще не просохшая земля туго продавливалась под каблуками, в местах, где было совсем сыро, клейко налипала на обувь. Жлобов жалел свои импортные модельные туфли — то и дело останавливался, сходил с дорожки, протоптанной пешеходами по обочине большака, вытирал подсевы о сухую ломкую траву на кочковатых бугорках. Он на минуту ставил куда-нибудь на подскожий островок земли пудовой тяжести сумку, набитую московски-

ми деликатесами — колбасой, селедкой, кетовой икрой и крабами в мелких банках, конфетами россыпью и в коробках, бутылками с вином, — давал отдохнуть рукам, ожидая, пока подойдет жена.

— Лидуха, ну давай скорей! Как со связанными ногами плетешься. Так мы до ночи не доберемся... — с упреком и едва сдерживаемым раздражением сказал он.

— Ой, Сережка, посмотри, что я сорвала! Это что — сирень? Дикая? Так рано? — В глазах жены, опущенных ресницами, тонко подведенными вороненой тушью, были восторг и удивление.

Она протянула ему буровато-зеленую ветку с узловатыми сучками, сплошь усыпанными фиолетовыми соцветиями.

— Волки ее сажали, эту сирень. — Жлобов взял ветку, понюхал.

У цветов был крепкий, словно у дешевых духов, запах, но живой, более тонкий и свежий.

— Волчье лыко называется. Ты, гляди, в рот не сунь: горечь жуткая, язык выплунешь... Яд — ужасный!

Лида боязливо потерла руки в перчатках о пальто, не зная: то ли брать, то ли не брать ветку назад.

— Ну что, струсила? — усмехнулся Жлобов. — Это не отравка какая-нибудь — первоцветки. Бери, бери, с цветами, глядишь, придем. Без цветов какая же свадьба — сама говорила...

Он сказал это с некоторой досадой, даже с упреком. Но упрекал скорее себя, чувствуя какую-то пакостную вину перед родителями, словно он нарочно подстроил так, чтобы они не приехали на свадьбу.

Расписались они с Лидой на Восьмое марта. Свадьбу справляли в дорогом и шумном ресторане «Арбат». Гостей набралось много, в основном родственники и друзья Лиды. Со стороны Жлобова на нее попали только брат Алексей, сам недавний москвич-лимитчик, и трое приятелей по институту. Мать с отцом не приехали. В канун свадьбы у них отелилась корова, причем, как позднее Сергей узнал из письма, принесла сразу двух телят: бычка и телочку. Родители прислали телеграмму на праздничном бланке. Над ней вдоволь поржали ребята в общепитии и гости за торжественным столом: «Поздравляем. Приехать не можем — отелилась Красотка».

Жлобов хотел в первые же после женитьбы дни съездить в деревню, созвать родственников, друзей, знакомых, устроить застолье, что-то наподобие второй свадьбы, для родни. Он уже договорился с руководителем практики, которую проходил на заводе «Моссельмаш», досрочно представил отчет, и его отпустили на целый месяц. Но все повернулось иначе. В профкоме министерства, где работала мать Лиды, оказались две горящие путевки на турбазу в Бакуриани. Теща выкупила их, желая сделать молодым сюрприз — три недели комфортабельного отдыха.

Жлобова сначала огорчил такой поворот: денег для поездки на юг у него не было. Все, что остава-

лось от заработанного в стройотряде и того, что дали родители, он ухнул на подарки жене и ресторанное великолепие. Попытался отказаться от путевок, заикнулся было о деньгах, но теща как отрезала:

— Какие деньги, сынок! Это мой подарок.

— И правда, Сережка! Когда еще подвернется такой случай? Там сейчас весна, горы, солнце, воздух. И мы — одни, — поддержала ее Лида, и он сдался.

Лида с трудом выколотила отпуск за свой счет, и молодые укатили на юг, в горы.

Кавказ их встретил отличной погодой и трехпогребельной дороговизной всего, что выходило за пределы путевки. Но молодожены компенсировали стесненность в деньгах созерцанием ослепительных горных пейзажей и бесчисленными поцелуями в засос, на которые никто не обращал внимания. Здесь все, словно сошли с ума, целовались напропалую. Можно было подумать, что пестрая ватага туристов и спортсменов, усеявшая склоны гор, только-только пережилась. Сергей и Лида вдоволь загорали, занимаясь слаломом, поломали две пары лыж, катались до одурения на подъемниках по канатной дороге. Сергею даже повезло приобщиться к воздухоплаванию.

Все вышло случайно: сломался дельтаплан у спортсменов, а наладить его они не могли. Жлобов, видя их долгую возню вокруг каркаса под зеленым шелковым треугольником, подошел, полюбопытствовал, присмотрелся, сообразил, что к чему — какникак, в железках и технике он знал толк еще с пацанов, к тому же без пяти минут инженер-механик — подсказал ребятам, как скрепить арматуру, и даже активно помог. Спортсмены, вроде бы в шутку, предложили самому испытать аппарат после «капиталки», и Жлобов, любивший острые ощущения и риск, несмотря на горячие протесты жены, рискнул.

Инструктор, белобрысый парнишка в широких очках и оранжевом шлеме, коротко объяснил, что надо делать в воздухе. Говорил он толково, но через слово вставлял «кумекаешь?», а, подведя Жлобова к обрыву, сказал: «Ну, валяй, гробься...»

Сергей разбежался и, проорав: «Летун отпущен на свободу!» — взмыл в воздух.

Пролетел он немного, но удовольствие от полета было удивительное. Что-то похожее на парение во сне, когда не чувствуешь веса собственного тела, а только сладко обмирающее сердце.

Еще не раз тайком от Лиды он бегал на тренировки дельтапланеристов.

Медовый месяц они провели хорошо, и если не считать нескольких капризов молодой жены, связанных с притиранием характеров, то и совсем отлично.

О сорвавшейся поездке домой он нисколько не жалел. Правда, было как-то неловко перед отцом с матерью, но он объяснил им все в письме и как подтверждение своих отличных дел и прекрасного отдыха послал из Бакуриани в Любимку цветную фотографию,

где они о Лидой, загорелые, смеющиеся, были сняты на лыжах в ярких шлемах. Она — в красном тугом купальнике, он — в пестрых японских плавках, с огромным, в ладонь, медальоном на голой груди. Сзади громоздились горы, а над головой было неестественно синее небо. Отправляя эту карточку в деревню, Жлобов представил, какой эффект она вызовет у его родных, и крупно надписал на обороте: «Температура минус восемь по Цельсию. Жара, как у нас в сенокос».

Вернувшись в Москву, он закружился по гостям, по магазинам, а когда опомнился, до конца отпуска оставалось всего четыре дня. Быстро собрались, поехали. Уже в дороге Лида спохватилась, что не купила никаких цветов — забыли, и очень огорчилась.

К Любимке они вышли, когда вечер чувствовался уже во всем: в посеревших краях неба; в заморозке, схватывавшем лужи и сырую, лишь кое-где на буграх слегка подсохшую, дорогу; в дымах, поднимавшихся над крышами тонкими кудрявыми столбушками — в избах протапливали на ночь лежанки.

Сергей показывал жене родные места, которые та знала уже по его рассказам, и чувствовал, как его охватывает какое-то странное, ранее не знакомое волнение. Этого не было прежде, когда он приезжал домой один или привозил с собой приятелей по институту. Все тогда получалось привычно и незаметно.

Если шел от станции один, то шел ходко, не оглядываясь особенно по сторонам, внимания обычно не придерживал ни на речке, вьющейся между деревней и лесом, ни на кладбище, белеющего на отшибе крестами и оградами, ни на березах, белой стеной охватывавших пойму речушки Щелинки. Дорога с попутчиком казалась совсем короткой — время в разговорах пролетало скорее скорого, и все, что было вокруг, что встречалось в пути, никогда не то что не тревожило, даже не трогало Жлобова.

А тут он заволновался, даже ладони вспотели, так что пришлось снять и сунуть в карман перчатки. Сергей поймал себя на мысли, что Лиде может не понравиться этот лес, эта речка, его деревня. Ведь она никогда не видела их в полной красе: ни в майской нежной зелени, ни в расцвете лета, когда клеверные луга томно гудят пчелами, обморочно, на одной ноте, верещат кузнечики, и тугие, будто накрахмаленные, подсиненные облака недвижно стоят в небе. А осенью! Воздух ядрен, свеж, липнет к лицу нежная паутинка. Клин журавлей, колыхаясь, висит в звонком поднебесье. У каждой избы в палисаднике, словно горящий стог, — рябина. А какое пиршество красок! И не понять, откуда природа взяла такую уйму пурпура, золота, синевы...

Но сейчас был апрель. Весна только-только разгулялась, и сады, которыми так славилась Любимка, стояли еще голые. Голым был и огромный тополь, что рос за кузницей. Усаженный грачиными гнездами, он возвышался над всей деревней, над ее садами, колодезными журавлями, крестами телевизионных

антенн, словно богатырь, строго вглядывающийся в весенние дали.

— Вон, видишь там тополь? Это у кузницы, ее сейчас сломали. Батя рассказывал, его будто еще мой прадед привез из Дубровки, в помещичьем парке выкопал. Тайком, конечно... Здесь нигде больше тополей нет.

— Подумаешь, тополь! — Лида недоуменно вскинула змейки тонко выщипанных бровей. — Вот кипарис бы! Березы, и то красивей. Ты посмотри, как бело, словно невесты стоят...

— Что березы? — Жлобову стало обидно. — У нас березы на дрова идут. Печки твоими невестами топят! Меня просто с души воротит: что ни песня — то про березу, вроде на ней свет клином сошелся...

Жена явно не понимала его, и сам Жлобов чувствовал, что этот одинокий тополь, куполом поднявшийся над деревней, для нее ничто, пустяк — дерево и дерево. Но как объяснить ей, что для него-то он был не просто деревом определенной породы? Он был единственным не только в их деревне — во всей округе. Он связывал его с детством, с родичами, с давно умершим прадедом, которого даже увидеть не довелось. Он был как корень, питавший его живительными соками родства с этой землей, памяти о ней, земле предков. Он был частичкой, плотью самого его, Сергея Жлобова, крестьянского внука и сына, покинувшего родину и не собиравшегося возвращаться сюда, но тут, в эту минуту озарения, вдруг ощутившего и понявшего, что ближе и милее этих мест для него ничего нет и не будет.

Сергей вспомнил, как отец рассказывал со слов дедушки, что у этого тополя собирались сельские сходы, когда поспевала пора делить сенокосы. И будто раз, почти в канун Первой империалистической войны, здесь вышла драка и был убит многодетный мужик. А порешил его свояк кистенем — специально припасенной гирькой на ремешке за то, что этот родич в прошлом году отспорил у него на миру четверть десятины болотистого луга.

У этого же тополя проводилось первое колхозное собрание. Это было в тридцатом. Мужики пришли на собрание с берданками и топорами — в окрестных лесах пошаливала банда, в которой верховодил раскулаченный богатей Ефим Кондаков. За день до собрания на тополе нашли записку, приколотую финским ножом. «Я вам, шволочам, такую колхозу устрою, — безграмотно грозился Фимка, — внукам закажитя! Были вы нищета-побирушки, так и помрете, а я, как был хазян, так и останусь. И милиции вашей я не боюсь!»

До сих пор где-то в тугой тополевой древесине сидят пули, выпущенные из бандитских обрезов. Отец рассказывал — он мальцом тогда еще был — налететь-то Кондаков налетел, да обратно не вылетел. Сноп картечи из председательского дробовика снес бандита с лошади. Остальных перехватила милицейская засада.

Где-то в теле тополя сидят и другие пули. Это уже ребячья дель. Славная тогда получилась стрельба. Женька Шалугин спер у отца ружье и карман патронов, заряженных свинцовыми катышами, на лося. Мишенью служила Сережкина кепка. Настрелялись досыта, но и дерка обоим вышла тоже славная — одному, чтобы не брал ружье и не чинил шкоды, другому — за порченную кепку, но в основном за компанию. Кепка была никчемная. Сережка ею и пыль вытирал, и воду черпал из родника, и землянику носил из лесу, и, набив травой, играл в футбол.

Жлобов вспомнил, как они жарили «яишню», и расхохотался. Жена схватила его за руку:

— Ты чего?

— Господи, даже не верится, что это я, — давась смехом, сказал Жлобов. — Ты послушай...

И стал рассказывать, как однажды весной они собрались ватагой и задумали состряпать яичницу из грачиных яиц. Ребятни было человек двадцать, потребовалась и сковорода соответствующая. Как сделать ее, предложил Женька. Он был изобретатель и мастер на все руки. С крыши пожарного сарая сняли кусок железа и в два счета соорудили огромный противень. Кто-то стянул из дома четвертинку постного масла, кто-то прихватил хлеба, соли, луку.

Тополь был обхвата в три толщиной, а снизу ни одного сука. За яйцами вызвался лезть Витька Жабин. К поясу он привязал ведро, снятое с того же пожарного сарая, через плечо перекинул веревочные вожжи. Витьку подсадили, и он, как обезьяна, полез по сукам.

Набрав полное ведро, он опустил его на веревке. Грачи орал и носились над тополем огромной стаей. А ребята снизу кричали: «Жаба, ты насиденных не бери, а то в пазуху тебе накладем и давить будем, как лягушек».

Витьку Жабина, кривонногого и задиристого пацана, в деревне иначе как Жабой из-за его незвучной фамилии не звали.

Подавая второе ведро с яйцами, Жаба сорвался и загремел, но зацепился штанами за сук и повис головой вниз, как самая настоящая лягуха, и очень надежно. Срочно была организована аварийно-спасательная команда. Она принесла лестницу. Та оказалась короткой. Притащили длинную еловую жердь — хотели ею спихнуть Жабу с сука. Не висеть же ему целый день! Тот орал: «Черти! В брюхо не суйте — кишки пропорете!» Жердь помогла или ремешок на Витькиных штанах лопнул — мальчишка свалился вниз. Был он сильный и ловкий, словно кошка, упал на ноги и ничего не поломал.

Потом все вместе жарили яичницу. Это была замечательная яичница, посыпанная крупной грязноватой солью, правда, слегка отдавала олифой и ржавчиной, но на такие пустяки внимания никто не обращал. Ели ее ложками. Их было всего пять. Черпали по очереди и честно. Они так увлеклись «яиш-

ней», что прозевали возвращение из выгона стада. Коровы и козы, вовремя не запертые в хлев, разбрелись по полям, потравили посевы. За это многих пацанов дома ожидала порка. Жабе она выпала знатная, на всю деревню.

Сначала Витькин отец гонялся за ним с ремнем вокруг двора и кричал:

— Стой! Ежели ты честный человек — не беги!

Витька поддавал ходу и, не оглядываясь, вопил:

— Батя! Я честный! Вот тебе честное пионерское — остановлюсь! Пори! Но порток не сымай!

Потом отец все же ухватил его и, зажав между ног голову, вытягивал ремнем по мягкому месту, приговаривая:

— Не ходи куда не надо! Ходи за козой!

Не ходи куда не надо. Ходи за козой!..

Штанов с сорванца-сына он все же не снял.

Лида охала в «страшных местах», когда Витька висел на суку вниз головой, и хохотала над погоней и поркой с присказкой.

— И это мой муж! — сказала она, вытирая слезы. — Как я тебя люблю!.. Как завидую... Ведь этот тополь для тебя символ... Он на всю жизнь. Сережка, я только сейчас благодаря тебе поняла. Вот верно пишут в книгах, мол, для него Родина началась вот с этого ручейка или с этого деревца... Да это же про тебя, про моего мужа! — вдруг радостно выкрикнула Лида, взяла Жлобова под руку, и, заглядывая ему в лицо, стараясь идти в ногу, сказала шепотом, словно поверяя заветную тайну: — А ты у меня поэт...

И Жлобов, не зная, как выразить жене благодарность за то, что она поняла его и приняла все, что он любил, что было ему дорого, запел, вернее заорал, дурашливую и немного непристойную частушку:

Как от Любимки до станции
Гуляли пареньки.
Девки в Любимке такие —
Сиськи виснут за пупки.

Лида, смеясь, оттолкнула его:

— Балда ты! Фулюган деревенский!

Жлобов обнял ее свободной рукой, тиснул и спросил:

— Боишься?

Лида догадалась, что он спросил: боится ли она его родителей — и честно ответила:

— А ты думал... Конечно... А вдруг я им не понравлюсь?

БЕДОЛАГИ

На праздники боцман брал отгулы, чтобы съездить на родину — в сельцо, затерявшееся на одном из бесчисленных плесов озерного Селигерья. Давно не бы-

вал он в родных краях и теперь летал, видно, в последний раз: продавал отчий дом или, как горько шутил он сам, рубил корни.

На судно боцман вернулся через три дня попутным катером. Усталый был и сердитый. Но отдохнуть после дальней дороги, протянувшейся от устья до истоков Волги и обратно, даже не подумал. Занес в каюту тощенький портфельчик, доложил капитану о прибытии и принялся шнырять по судну, «шмон наводить» — посмеивались матросы.

Ласточек боцман заметил сразу, как только появился на главной палубе — баке. Они облюбовали местечко под рубкой рулевого: высоко — с палубы не достанешь, из рубки тоже не дотянешься — козырек навеса мешает. Боцман, задрав голову, прикидывал, как выселить незваных жильцов с посудины.

В раздумье он почесывал сивый затылок — кладезь всякой морской и корабельной премудрости, отходил к носу судна, чтобы издали оглядеть подступы к гнезду. Ничего путного в голову ему не приходило.

— Нокентий! — окликнул он первого попавшего на глаза матроса. — Сковырнуть их оттуда надо... Ишь, пока меня не было, какую грязь на стенке развели.

Матросом этим оказался рулевой Кеша. Он только что сдал вахту и на бак заглянул в надежде поговорить с боцманом «за жизнь», как выражался один коренной одессит, занесенный судьбой из пивного ларька на палубу каспийского сейнера. Работать Кеше сейчас не хотелось — он бы потрепался или поспал с удовольствием. Рулевой брезгливо оглядел белоснежную стену, на которой грязным пятном выделялось, прямо-таки в глаза лезло, ласточкино гнездо. Собственно, не гнездо еще — полукруг, отмеченный крапинами сырой грязи. И вдруг Кеша улыбнулся. Ему показалась забавной суетливая работа ласточек, то и дело взмывавших над палубой и тут же исчезающих за кудрявыми береговыми ветлами, а беспокойство боцмана — пустячным.

— Во, елочки веселые! — воскликнул Кеша своей любимой поговоркой. — Так это ж здорово, Ипполитыч! Они что — мешают?... Пускай живут...

— Непорядок на судне... — нахмурился боцман. — Чтоб и духу их там не было! Понял?

— Как не понять! — сказал независимо Кеша. — Глобальная мысль!.. Только, слышь, «фьюить-пирю» — ласточки пропели: спать пора. Только что рубку с рук на руки передал, всю ночь глаз не смыкал, — съехидничал он и для пущей независимости натянул белую кепчонку на самые брови, прижав ею густую, с модной рыжинкой шевелюру.

— Вот и уберешь, — не отступал боцман. — Чтоб все здесь чисто было. Понял?

— Как не понять... — уже не столь вольно повторил Кеша и поддал пальцем козырек кепчонки — рыжая копна вновь выползла наружу.

На манипуляции рулевого с головным убором боцман смотрел, прищурившись и насмешливо, будто испытывал того цепким, пристальным взглядом. Кеша приуныл. Он был человек городской, но истинный романтик моря, и вполне соглашался с боцманом, что ласточки на судне — непорядок. Но ему стало вдруг жалко разрушать птичье пристанище, ведь ласточки ничуть не мешали. Ему даже нравилось их порханье, хлопотливая работа. В то же время Кеше была хорошо знакома натура боцмана: задумал — сделает. Он с минуту подумал и вдруг сбросил с себя дурашливость, стал таким, каким был на самом деле: добрым, отзывчивым, даже жалостливым.

— А может, оставим, а... Ипполитыч? — сказал Кеша просительно и даже пошел на маленькую хитрость: достал пачку «Явы» с последней сигаретой и предложил ее боцману. Знал боцманскую слабину: Ипполитыч своих сигарет не носил уже второй год, все собирался бросить курить, и обязательно с утра. Но дальше благого намерения дело у него не шло. Два десятка матросов на судне, и все почти в перерыв подымить любят — как тут устоишь? Соблазнительно ж сладко дымком затянуться... И на сей раз боцман не удержался перед искушением.

— Ты мне зубы не заговаривай и табаком не умашивай, — голосом подобрел Ипполитыч и потянулся за пачкой.

Присев на крышку трюмного люка, вкусно попыхивая сигаретой, он уже совсем миролюбиво рассуждал:

— Ты сам посуди: место ль им здесь? Через неделю забьем трюмы рыбой, пойдем в Астрахань... А они что? Представь...

Но Кеша не мог представить, что и как будет с птицами во время рейсов, а вот разрушить гнездо для него было бы кощунством — душа не принимала такого решения боцмана.

— А шум, а грохот?... — между тем наседали тот. — Так и будут касатки мотаться за нами от тоней к рыбзаводу, с рыбзавода до моря?

— Да мы ж не в открытом море! — возражал Кеша. — Берега ж под рукой — лови мошек-букашек! Да я сам, лично, мух им промышлять буду... Ты пойми, Ипполитыч, нигде на кораблях ласточки не живут, а у нас на «Приливе» будут, елочки веселые!

— Зря агитируешь, — отмахнулся боцман. — От твоего шефства птицы, гляди, без потомства останутся... А все живое должно деток плодить, род продолжать. Это, Нокентий, главный закон жизни, — добавил он значительно и вздохнул.

Но и этот довод не подействовал. Кеша не отступал. Он выжимал из своей эрудиции слышанные и читанные истории соседства птиц и зверей с человеком, истории диковинные и невероятные, и горячо убеждал в их достоверности. Тут же, на ходу, сам придумал слезоципательный случай о каком-то аисте, поселившемся на мачте рефрижератора, приписан-

ного к Калининградскому порту и ходившего в Атлантику вместе с птенцами.

Боцман слушал, вместе с Кешей дивился, качал головой, но только до тех пор, пока дымилась сигарета. Потом, щелчком швырнув за борт окурок, он хлопнул ладонью себя по коленке и как отрезал:

— Хорош байки гнуть! А стена чтоб блестела. Все!

— Чем ее достать, грязь эту? — с досадой спросил Кеша. — Пальцем?

— По мне, хоть пяткой, — неуверенно парировал боцман и вдруг выдал неожиданно пришедшую идею, даже удивившись своей находчивости: — А лучше из брандспойта! Глобальная мысль! — передразнил он рулевого. — Раз — и смысл! Пусть, пока не поздно, новый дом лепят. Тоже мне... аист в Атлантике! А ведь я тебя уважал, — покачал головой боцман.

Кеша окончательно скис, безразлично махнул рукой на несговорчивого боцмана и побрел в кубрик, разжигая воображение корабельным бунтом против жестокого старика и представляя, как поникшего Ипполитыча увозят в валком «тузике» с узелком сухарей и чалкой вяленой воблы на необитаемый остров, где кружат с криками одни только чайки.

К вечеру Кеша предпринял «ход конем». Заступив на вахту, он увидел в рубке белую фуражку капитана и немедленно предстал перед ним.

— Борис Сергеевич, — сказал рулевой, прижимая к груди руку. — Я про ласточек...

Он не жалел словесной энергии и, сплетая вымысел и откровенное вранье, совсем заморочил «кэпа».

Капитан был молодой, из вчерашних старпомов, очень отчетливый моряк: любил на судне порядок и почитал «морской блеск». Но Кешина мысль о том, что его судно единственное, на котором будут жить ласточки, показалась ему забавной, соблазнительной и даже оригинальной. «А почему бы и нет? — прикидывал капитан, незаметно от рулевого прихорашиваясь перед круглым зеркалом на стене. — Ведь живет же в каюте у капитана Белова сиамский кот, у капитана Гайваласова на «Разливе» — тюлень и черепаха. А на моем «Приливе» будут ласточки».

Конечно, возымел действие на капитана и рассказ рулевого о мифическом аисте, трижды побывавшем в Атлантике. Он спустился вниз, отошел по баку к самой корме, постоял, любуясь хлопотами ласточек, махнул Кеше рукой:

— Пусть живут!

— Так вы не мне — боцману это скажите, — высунулся из рубки сияющий рулевой.

— Хорошо, я распоряжусь, передам Ивану Ипполитовичу, чтобы не трогал.

Спасенное заботами Кеши и добрым словом капитана гнездо росло на глазах. В несколько дней оно округлилось пузцом, соединилось верхним краем с козырьком навеса. Остался только леток — небольшая щелочка у самого потолка.

Матросы, мотористы, механики, сам капитан и его помощники не стовариваясь поменяли место перекура и с задней палубы — юта — перебрались на бак. Рассаживались по краю люка, следили за быстрыми ласточками, рядили между собой: пойдут ли те за судном или останутся здесь, в самой дельте Волги, на протоке Бакланьей — и потчевали друг друга невероятными историями из жизни летучего, ползучего, прыгучего, плавучего и прочего зверья. Но главное в этих историях была не выдумка, а благодарное, неподдельное чувство радости и заботы о «братьях меньших».

Больше всех, чувствуя себя главным спасителем гнезда, суетился рулевой Кеша. Его молодая фантазия не знала удержу.

— Ну что, Ипполитыч, смысл? Елочки веселые... — с издевочкой подначивал он боцмана. — Мы еще скворцов заведем, ребята, — довольно шурился Кеша. — Это как пить дать!.. Пускай птенцов высиживают...

— Цыплят ты, верно, будешь высиживать, — ворчал боцман и даже хмурился от Кешкиного нахальства. — В инкубаторе...

— Это почему же в инкубаторе? — удивился рулевой такому повороту разговора и поддержал новые настоящие зарубежные джинсы с ловким ковбоем на «корме». — Как прикажете понимать?

— Понимай: не получится из тебя путного матроса. Ты же сплошной юный натуралист!

Собравшиеся одобрително засмеялись. Во-первых, многие считали, что корабль для ласточек далеко не подходящее место; во-вторых, боцмана здесь по-настоящему уважали и любили — за его справедливую требовательность и бесхитростный характер, за преданность морскому делу.

Верный человек был Ипполитыч. Правда, иногда грубоватый. Но это прощалось: попробуй-ка тридцать лет проторчать на корабельной палубе. Матросы что? Пришли, ушли! Одни — сшибив деньгу, другие — вдоволь, как говорится, под завяз, нахлебавшись морской романтики. А боцман хранил привязанность к морю и, видать, до гробовой доски. Менялись капитаны, обновлялся плавсостав, приходили новые суда, но для него корабельная палуба была родным домом. И сейчас, то ли находя в этом доме непорядок, то ли обеспокоенный судьбой ласточек, боцман ходил хмурый, морщил коричневый, пропеченный солнцем лоб, сердился:

— Глупая это затея... Не от большого ума, нет... Эх, останутся без птенцов касатки — будет вам эксперимент!

Некоторые с ним соглашались, а Кеша подтрунивал:

— Устарел ты, Ипполитыч... Морально устарел. Теперь скворцы зимовать не летают, белки в парках живут, лоси по улицам городов ходят...

— И хорошо, что ль? — не сдавался боцман. — Дай закурить, — обращался он к первому попавшему

под руку матросу, долго мял поданную сигарету. — Для зверья, говорю, хорошо?.. По мне, не от сладкой жизни бежит зверь к человеку... иль по неразумению. Лучше б ему на просторе жилось...

Шли дни. К ласточкам привыкли. Птицы еще до восхода солнца начинали черными челноками сновать в воздухе и скрывались в летке, затихали только в сумерках. Стояла середина мая — для нижней Волги пора уже знойная и работа горячая. Весенняя путина была в самом разгаре — шла большая рыба. Матросы закладывали мороженым лещом последние кубометры трюма. Судно так вписалось в речной пейзаж, что на фоне пойменных зарослей и широкой волжской воды, высоко поднявшейся от паводка, его можно было принять неопытному глазу за опрятный дачный домик, на котором совсем подачному звенел по вечерам возбужденный Кешкин голос: «Снесли яички!..» Боцман тянулся к чужой пачке и хмуро покашливал.

Швартовые отдавали в полдень. Команда, занятая этой работой, совсем забыла о ласточках. А птицы с тревогой отпрянули от гнезда, как только в машинном отделении взвыли ходовые двигатели, и корпус судна задрожал от многосильных дизелей. «Прилив», чутко слушаясь руля, выписывал плавную дугу, выходил на фарватер.

Блестело солнце на белоснежной стенке рубки, блестя стеклами в круглых и квадратных окнах, сиял белозубой улыбкой рулевой Кеша. Настроение команды было отличное: все ладилось — и погода, и механизмы, и где-то в недалеком будущем зрела солидная премия за перевыполнение плана.

Только боцман, управившись со своим хозяйством, стоял на баке в расстегнутой ситцевой рубашке и хмуро крутил головой, вглядываясь то в небо, то в рулевую рубку. Матросы, пытаясь понять, что он так старательно выискивает, стали следить за взглядом боцмана и увидели, как ласточки стремительно резали воздух над высокими, в проводах и антеннах, мачтами, уносились к берегу, все отдалявшемуся и отдалявшемуся от судна. «Прилив», набирая ход, свободно шел по глубокому просторному руслу, и за его кормой бурлил широкий пенистый бурун. Вскоре ласточки стали отставать и совсем пропали из виду.

— Эх вы... бедолаги несмышленные, — проговорил, качая головой, Ипполитыч. — Тоже... нашли себе дом...

Настроение боцмана стало совсем черным, хотя он знал, что птицы успеют еще и гнездо слепить новое, и птенцов из вновь отложенных яиц вывести. Какая-то еще не совсем ясная мысль, скорее чувство, мелькнула в нем, и боцман увидел в судьбе птиц свою человеческую судьбу, что-то очень похожее, близкое. Он вспомнил, как ездил недавно в родные Пески, что напротив знаменитой Ниловой Пустыни на Селигере, как за бесценюк продал обветшалый родительский пятистенюк, побывал на могиле

стариков, попрощался с родными местами. И словно отрезал себя от этих краев — грусти о брошенном отчем доме хватило у него до первой ошашковской пивной. Ласточки, потерявшие гнездо, навеяли совсем другую печаль: боцман думал о том, что скоро, совсем уже не за горами, пенсионная книжка, и в один из таких вот солнечных дней уйдет его настоящий дом — корабль, а он останется на берегу... один... с тоской без привычного дела... без обжитого гнезда. А другого ему, видать, уже и не свить — стар.

— Дайте закурить, что ли... — ко всем сразу обратился боцман.

К нему потянулись новенькие и мятые табачные пачки.

— Жалко... Пропадут яички, — кивнул пожилой стармех на чернеющее под рубкой гнездо, где можно было разглядеть в ссохшейся лепке дрожащие желтые травинки. — А все Кеша-трепач! Взять бы эти яйца да в пазухе ему растолочь! Натуралист хренов... Правда, Ипполитыч?

Боцман ничего не ответил. Он лишь вздохнул, швырнул на палубу только что зажженную сигарету, явно изменяя своему пристрастию к морскому порядку, растер ее ногой по чистой сухой доске и побрел к кубрику. Матросы обернулись ему вслед и неожиданно, словно пелена с глаз упала, увидели, какой уже старый их Ипполитыч и как он уже не по-морскому, а совсем по-стариковски шаркает по палубе ногами.

В порту рулевой отыскал боцмана у кают, тронул его за рукав:

— Слышь, Ипполитыч, ты не сердись... Смою я гнездо, все чин-чинарём будет! А ласточки совыют себе новое, май ведь еще. Не сердись, а... елочки веселые, что за беда?.. — с натянутой бодростью воскликнул Кеша.

— Иди ты!.. — отвернулся боцман и хлопнул дверью своей каюты.

«ПАНТЕЛЕЙМОН-МУЧЕНИК»

На моего шурина временами накатывала страсть к собиранию. Коллекционировал он по очереди марки, водопроводные краны, подсвечники, амбарные замки и ключи, ружейные патроны, спичечные и винные этикетки... И надо же было случиться! Раскопал у меня в шкафу солоухинские «Черные доски», прочитал — и «заболел» иконами. Прослышал, что я в отпуск в деревню еду, телефон разбил: «Достань да привези!» Ладно, посулил.

Но, приехав в родные поля и веси, совсем забыл про обещание. Удил на озерных плесах пестрых, горбатых окуней, пробираясь к потаенным грибным местам, мок на болотах, скрадывал по утрам на туманной речке утиные выводки. Может быть, так и не

вспомнил бы об иконах, не до них — столько вокруг интересного было. Но однажды отправился за боровиками и забрел в такую глухомань, что попасть домой засветло нечего было и думать. Вышел на теплую, с первой рыжинкой травы поляну, посмотрел на заставшее за маковки мрачных елей солнце и решил держать путь к недалекой отсюда деревушке, где жил мой дядька, провести его да заодно и переночевать.

Усидели мы с дядькой Колей за неторопливыми разговорами самовар, незаметно искурили кисет ядовитого, как мухомор, но душистого самосада и спать собрались только за полночь. Пока дядька, кряхтя и вздыхая, доставал с полатей постель, застилал ее чистой полосатой простыней, я избу его разглядывал. Просторно и просто в ней было: на свежих бревенчатых стенах, еще не знавших ни обоев, ни краски, широкая лопасть лосиных рогов, под ней новенькая «тулка» и рядом красочная репродукция из «Огонька», какая-то пухленькая мадонна. Разглядывая «святую», я невольно про шурина вспомнил. Метнул взгляд на передний угол, а он пуст.

— Дядь Коля, а угодников-то бабушкиных, поди, на чердак откомандировал? Я помню, весь угол был заполнен ими...

— Был, племяш, был...

— Так, может, мне отдашь, колья не нужны стали?

— Хм, припоздал ты маленько, — усмехнулся дядька, ловко, по-женски взбивая толстые подушки. — Да и не первый в этом охотник. Нынче на церковную мазню охотников пруд пруди... По весне забрел к нам один чудак бородастый. Вроде ученый какой, с портфелем, в очках... Все по старухам ходил, иконки эти самые выпрашивал, скалки-прялки всякие... И у меня был, — тут дядька хитро подмигнул мне: — Я ему лапти сбыл, будь здоров какие!

— Что за лапти?

Но дядька не спешил с ответом. Управился с постелью, на сон грядущий соорудил еще одну сигарку в ружейный ствол толщиной, присел на кровать и только тут, не скрывая смеха, начал рассказывать:

— Лапти как лапти. Из бересты кочетыком деланные... Наташка, дочка, в туристский поход ездила, ну и купила для сувениру в ларьке. В городской-то квартире негде пристроить, вот она их сюда и привезла, на рог, мне над кроватью, повесила. Как дочка назад уехала, я в них наловчился во двор ходить... Ну бородастый, как увидел у меня на ногах лапти, аж позеленел! Господи, говорит, вот он, истинно русский дух, цела Русь-матушка еще, цела! Это ж реликвия, говорит, денег я за нее не пожалею. Раздавили мы с ним «Экстру», грибочками солеными закусили... Я сбегал, вторую купил, чтоб без обиды. Ну, переночевал он у меня и поехал страсть как довольный... А икон у меня нету, племяш. Я, как дом подрубал, снял мамины образа со стены, а там паутина, жуки-древоточцы... Ну я их и пустил в костер вместе с мусором. Чего в доме всякий хлам копить?.. Да

брось ты, не вешай носа! Хочешь, ухват подарю... аль сковородник? Нам-то теперь такая утварь без надобности, у нас газ, а ты, глядишь, на стену повесишь... Вот она — Русь, мол! А?

Дядька ехидничал явно и неприкрыто. Но я на него не обижался. Дядька Коля в старине мало разбирался, он был специалистом по тракторным дизелям.

Потом с этими иконами у меня целая история приключилась.

Стал я по примеру того «бородастого» спрашивать в своей деревне у знакомых стариков: не отдаст ли кто ненужный образок? Никто не отдал. Нет, во все не от приверженности к церковному. Видно, не было во мне коллекционерской ярости — не умел уговаривать. Но до того уж я разохотился в поисках, что однажды без всякой надежды на удачу зашел даже к соседскому старику Ване-богомолу. Деда прозвали так потому, что ни один «крестный ход» от крыльца бабки Маши до избы бабки Даши — на большее у старух, видно, не хватало ни сил, ни духу — не обходился без его участия и пения дребезжащим, как жестяная банка, голосом соответствующих случаю псалмов. И надо же — дед Иван пожертвовал мне образок!

Честно говоря, не икона это была — одно воспоминание. Вместо лика несколько чешуек краски, доска в прах источена шашелем: так из нее пыль и сыплется. Я все на стену поглядывал, где красовался целый полк святых угодников. Но дед будто не замечал моих жадных взглядов, все нахваливал образок, которым хотел одарить.

— Никола Мирликийский, — дудел он. — Страсть как от зубов помогает. И против конокрадов самый что ни на есть святой-рассвятой. Будешь ему свечу жечь — сроду ни лошадь, ни машину не сопрут. Серьезный!

Дед протер костяшкой согнутого пальца по лику, вроде мальцу под носом навел порядок, и вздохнул:

— Берешь ай нет?..

Я отказался. Лошади у меня не было, а шурин автомобилем еще не обзавелся. Да и кто его знает, может «Мирликийский» только от конокрадов, а против угонщиков машин у него квалификации не хватит. Конечно, это в порядке шутки — не мог же я родичу вместо иконы трухлявую доску подсунуть.

Не стал я больше ходить по старухам и старикам, решил применить испытанное средство — мальчишек. Мало ли нынче, как старики померли, икон в домах снимали, на чердаки повыбрасывали? Лежат они там, пылятся, от дождей мокнут, на сквозняках рассыхаются. А пацаны народ вездесущий, кому как не им знать, где, что и как. Гляди, скоро и отыщут для моего шурина целый иконный клад. Как это я раньше про ребятишек не вспомнил!

И действительно, стоило мне заикнуться — толстяк и добряк Витька приволок икону по размерам с калитку, а на ней — целая артель апостолов.

— На сеновале, — сказал, отдуваясь, Витька. — Папанька ей лаз от курей закрывал... Бери!..

Я поначалу возликовал, представляя, как обрадуется шурин. Но прикинул и скис — как ее, такую машинку, домой повезешь?

— Поменьше-то нет? Ну, чтоб в сумку вошла. Ведь с ней в вагон не втиснешься...

Витька извлек из-за шивороты колючую сенную труху, шмыгнул носом, подумал:

— На сеновале нету. Вот со стены снять?..

— Как снять?!

— Вот так, — сказал Витька и даже показал, — снял и унес...

— А бабка? Даст тебе деру.

— Ха, бабка! Она, может, раз в месяц крестится и то в угол не смотрит.

Считанные минуты прошли, как Витька слетал домой, притащил небольшую, в окладе из серебрястой фольги икону. Разглядел я ее, прочитал надпись — «Пантелеймон-мученик». До того красивая оказалась иконка, что мне самому невольно понравилась, особенно глаза Пантелеймона. Они прямо сквозили болью, тоской, страданием. Правда, не шибко я разбираюсь вообще в живописи, тем паче в церковной, но, думаю, не бесталанный иконописец мог нарисовать такие глаза. Помню, дедушка наш умирал, надорвавшись в лесу. Долго умирал и тихо. Ни стонов, ни вздоха от него никто не слышал. Лежал, уперев взгляд в потолок, сох и сох телом дедушка, только глаза цвели васильками на обрезавшемся лице, вот такие же скорбно-пронзительные, как на этой доске.

Сняли мы с Витькой рамку, едва вытянув из нее клещами каленые ржавые гвозди. Протерли образок влажной тряпкой — еще мучительнее засветились глаза Пантелеймона. Всмотривался я в них, и что-то шевельнулось в груди от пронзительной тоски во взгляде святого: будто и не Пантелеймон вовсе, а дедушка Матвей стоял перед глазами...

— Ну, спасибо, Витек! Удружил!.. Век не забуду.

Пожал я мальчишке руку, а он рад, будто ему крылья подарили. Расплылся от уха до уха в улыбке и убежал домой. Завернул я икону в газету, убрал — и словно камень с плеч... До конца отпуска оставалось еще порядочно, живи без забот, наслаждайся отдыхом на природе, а меня словно лукавый под локоть толкнул: взял и уведомил шурина письмом, так, мол, и так, торжествуй, выбрасывай в мусоропровод этикетки и водопроводные краны, везу!

Прошло три дня. Сидел я на кухне, перебирал грибы и радовался выпавшей нынешним утром удаче на боровики. Дверь без стука растворилась — Витька через порог вваливается. Одно ухо кумачовое, вихры в разные стороны, нос раскисший, сам чуть не в слезах.

— Да что с тобой?

Витька щеки надул, глаза прячет, гундосит губастым ртом:

— Давай икону назад!..

— Вот тебе раз! Чудно, Витек, получается: то на тебе, то давай обратно!.. Сядь, отдышись... За тобой что — кто гонится?

— Бабка меня отколошматила, — утирал он нос.

— Как же вышло?..

— Абнакнавенна, — всхлипнул Витька, видно, вновь переживая пережитое. — Бабке пенсию принесли... Она ее всегда за иконами складывает... Полезла сейчас деньги класть, а там дыра... И мне мокрой тряпкой... и за ухо...

И Витьку мне было жалко — достанется еще малому, и с иконой не хотелось расставаться. Глядел я то в мученические глаза святого, то в Витькины, полные слез и смущения, и не знал — что делать. Пожалел, пожалел, вздохнул:

— Что ж, бери... Забирай назад, раз такое дело.

Витьке и так не по себе было, а тут он совсем опешил. Не ожидал, видно, что так просто отдам я икону. Взял он ее нерешительно, в руках вертит и медлит, будто сказать что хочет. Но так и не сказал, потоптался у двери, держась за ручку, и спиной вперед вывалился в сени.

Ушел Витька, а я себя ругаю, что не соблюл пословицу, презрел мудрость народную, гопнул, еще не перепрыгнув.

Чистил я грибы, укладывал их на противень для сушки и мысленно перед шурином оправдывался. Но не успел ни оправдаться, ни расстроиться толком, как постучали в дверную колоду.

— Здравствуйте вам, — перекрестился сосед дед Иван на пустой красный угол в прихожей. — Вот глянь... В Волочке заказал, подновили...

Развернул серую тряпицу, стер с лица святого шероховатой ладонью невидимые пылинки, вздохнул:

— Надо бы пойти к реке, пустить на воду, пусть плывет себе... Да раз человек хороший просит, как не одолжить...

Взял я сверкавшую свежей краской икону и чуть не ахнул: с той же, источенной короедом доски, где в незапамятную пору красовался Николай Мирликийский, хитро улыбался розовощекий святой, левой рукой прижимал к груди священную книгу, лукаво грозил мне указательным и средним пальцами правой, а над головой у него, по углам доски, было выведено замысловатой вязью «Господь-Вседержитель».

Отпуск мой заканчивался. С иконами так ничего и не вышло. Завтра надо было уезжать, и я собирал в дорогу нехитрые пожитки, разложив на столе сушеные грибы, укладывал их в пакеты и в сумку, и все прикидывал оправдание перед шурином — ну, право же, я сделал все, что мог! Слышу, в сенях топот, дверь настежь — запыхавшийся Витька влетел в избу. Лоб потный, большой палец на левой руке клочком марли обмотан. Распахнул пиджак и выложил на стол «Пантелеймона-мученика».

— Во, бабка не догадается!

— Опять?.. — недоверчиво взглянул я на икону, потом на мальчишку и вновь на нее.

— Да бери ты, бери! Все шито-крыто сделал, — замахал перевязанной рукой, убеждая меня отбросить сомнения, Витька.

Я неуверенно взял икону, содрогаясь при мысли, что снова придется с ней расстаться, искать оправдание перед шурином. Пантелеймон с прежней болью смотрел мне в глаза.

Румяный, отдышавшийся Витька мешком повалился на диван, поудобней уселся в углу и захохотал во весь рот то ли над моей удивленной физиономией, то ли над своей проделкой.

— Знаешь... ха-ха... что я удумал... — давился он смехом. — Выпилил из той большой доски... ха-ха... одного мужика... Подтесал топором и вставил в рамку на место этого... глазастого. Бабка теперь ни за что не спохватится... нет, не допрет. Будет молиться отпиленному богу... ха-ха... а думать, что настоящему...

— Стоп, Витька! Хорош! — перебил я мальчишку. — С меня довольно. Я уже ученый и в такие игры больше не играю. Забирай икону — и шабаш!

Витька обиделся:

— Да чего ты?..

— Я же сказал...

Мальчишка слез с дивана, потоптался у порога и ушел, явно не в духе. Но вечером он опять был у меня.

— Держи! — и брякнул мученика «Пантелеймона» прямо мне в руки. — Бабушка прислала!..

— Не понял...

— А чего понимать? Я сказал бабушке, что отпилил у того ноги и вставил вместо этого, а тебе этот нужен...

— А она?

— Она говорит: «Пускай безногий, мне за него замуж не выходить, лишь бы дырки в красном углу не было...» Она и денег мне еще дала на конфеты... за то, что тряпкой и за ухо...

...Шурин позвонил мне на второй день приезда.

— Привет, старик! — рокотал в трубке его всегда возбужденный голос. — Слышь, подари мне тот выпел, с кисточкой. Я «Жигули» купил, хочу кабинету украсить.

— А икона?..

— Ах, да! Все, завязал с этим. Теперь не до коллекций.

НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Вечером, когда опустела редакция, Марина проскользнула в его кабинет и, прижав спиной дверь, одной рукой потянулась к выключателю, другой повернула ручку английского замка, защелкнула его на «собачку».

— Марик, не шали. — Родьков поднялся навстречу, на ходу включил настольную лампу. — Засекут...

— Т-ш-ш... — легко бросилась к нему Марина и повисла на шее. — Я целую вечность только и ждала этого...

Порывистые объятия длились бурно и долго, и, когда они стихли, слегка уставшие и опьяневшие от поцелуев, Родьков и Марина оказались на мягком, туго обтянутом дерматином диване, продолжали ласки.

Встречи эти бывали почти каждый вечер и продолжались уже второй месяц. Чем дальше, тем они становились все жарче. Но Родьков не позволял себе многого, хотя временами, особенно в последние дни, чувствовал, что Марина отдается. Так каждый раз, когда страсть доходила до предела, тело женщины становилось легким и податливым, губы уже теряли ярость, руки безвольно и лихорадочно путались в его рубашке, волосах, сцеплялись на спине, он усилием воли, будто продавив в себе какой-то клапан, отрывался от губ и, стараясь унять свою страсть и ее порыв, шептал Марине на ухо, касаясь губами мягкой мочки:

— Не шали, не шали, Марик... Не надо так гнать лошадей...

И чувствовал, как она вздрагивала, будто от нечаянного толчка, щека ее, и без того горячая, становилась жгучей. Марина несильно отстранялась от Родькова и, все еще дрожа, прижав к груди сцепленные руки, задыхалась от резкого шепота: — Прекрати! Я не могу слышать про лошадей этих!..

— Ну что ты, Марик, — придвигался он к ней, гладил горячие щеки, мягкие волосы и, ощущая под пальцами теплый затылок, утешал: — Я шучу, шучу, моя девочка...

— Все шутки, шутки тебе. — Голос ее срывался. — Я не могу больше. Нет, не могу!

Но ласки Родькова, тихие, будто ленивые, действовали на нее как крепкая доза валерьянки. Марина успокаивалась, расслаблялась, сбросив туфли, подбирала под себя ноги и, прижавшись к Родькову полным плечом, просила сигарету. Они подолгу сидели так, неторопливо затягиваясь дымом, стряхивая пепел прямо на пол, слегка касались друг друга губами, но уже не целовались, а только изредка роняли незначущие слова. Были вместе, а будто далеко друг от друга.

Родьков каждый раз, чуть утолив в себе голод на ласку, начинал вспоминать жену. Хотя дома, наоборот, думал о Марине и, удивляясь произошедшей в нем столь скорой перемене, в которую прежде бы он ни за что не поверил, ловил себя на мысли, что стал к Ольге абсолютно холоден, почти равнодушен. И если прежде случавшиеся ссоры с женой каждый раз остро задевали его, он шел на любые уступки, лишь бы угодить ей, как-то примириться, то теперь на вспышки Ольги отвечал молчанием, а когда ее

упреки становились невыносимыми, вдруг срывался на крик и резкую, прежде не свойственную ему, ругань, даже брань. Тонкое лицо Ольги удивленно передергивалось, черные глаза гневно округлялись. Она замолкала, как подрезанная, и неделями не разговаривала. Застилала мужу раскладушку на кухне, и по утрам, собираясь на работу, он находил на кухонном столе короткую записку: «Котлеты, сыр, кофе». Сначала он усмехался такому безмолвному каналу связи — мог бы найти что поесть и без подобных меню, но потом перестал обращать на выходки жены внимание. Одевался, завтракал и уходил в редакцию.

До последнего времени в дни раздоров Родьков еще находил нужным звонить жене на работу, если требовала того необходимость — заказ на продукты, билеты в кино или другое семейное дело. Разговаривая по телефону, чтобы не вызвать ненужных распросов и шуток коллег, они не подавали и виду, что в ссоре, но говорили сухо, без лишних эмоций. Теперь звонки их совершенно прекратились.

В отделе у Родькова работал молодой сотрудник, сосед по кабинету, Севка Латкин. В редакцию он пришел после армии, год назад, и быстро научился понимать разговоры своего шефа. Севка многозначительно подмигивал Родькову, когда тот разговаривал с Ольгой обычным шутивым тоном, какой возможен только между супругами или любовниками. Но когда шеф начинал «дакать» или «некать», Севка сидел, опустив глаза, и не заводил с ним семейных бесед. Хотя тема эта была его коньком. Севку с первых же дней появления в редакции посчитали бойким на язык, мигом окрестили «пресс-сплетней» — были на то причины — и рассказывать при нем о своем, личном, мало кто решался, даже когда и хотелось высказаться, излить душу. Однако такие «молчанки» не скрывали от Севки внутреннего положения коллег. Информацию он всегда имел самую свежую. Севка сам любил обычно шутить:

— Журналиста и волка ноги кормят. А меня — связи.

Знакомства у него были действительно обширные: девочки на городском коммутаторе, продавщицы близлежащих магазинов, парикмахерши. Он так поворачивал полученную информацию, что каждый, самый незначительный факт приобретал в его оформлении вид со смыслом. Севка называл это — «сделать конфетку». И пускал такие «конфетки» в адрес всех сотрудников, не исключая и самого редактора, и даже старуху уборщицу. Но своего первого шефа Николая Родькова шадил.

— Сор из избы не выносим, — с усмешкой отвечал Севка, когда в перекурах после обеда или планерки почти все сотрудники собирались в коридоре, у бильярдного стола.

Родьков знал о золотом и верном Севкином сердце и ценил это: никогда не одергивал Латкина, был с ним на равных, нисколько не выказывая своего на-

чальственного положения. Они понимали друг друга с полуслова, потому и дела у них шли как пописаному — работали с «загоном» и еще другие отделы по части срочных материалов выручали.

Первым узнал Севка и о появлении в редакции Марины. Было это осенью, месяца три назад. Латкин прилетел тогда к Родькову как встрепанный.

— Шеф! Новость... тепленькая, прямо из печи!

Родьков отмахнулся от литраба — известный трепач Латкин пек сенсации по дюжине в неделю.

— Крест господний! Фартовая баба... Ножки! Глазки! И здесь, и там!.. Приняли фотокором...

Через день, что ли, Марина сама зашла к ним в отдел, и Родьков тогда подумал, что на сей раз болтун Севка не прибавил даже на ноготь.

— А я вас знаю, — сказала Марина. — Заочно, правда... Читала ваши рассказы...

Родьков внутренне собрался. Писательство было его мечтой, «сладкой каторгой» и причиной постоянных распрей с женой. Ольга критиковала его за «хемингуэевщину» и безликость.

— Мне очень «Знахарка» понравилась!.. Русский такой рассказ... Детали, быт... У вас очень точный глаз, и фразы вы сколачиваете крепко. Не в хулу замечу, что-то есть в ваших рассказах от Куприна...

— Любите его? — спросил Родьков, чтобы как-то свернуть разговор на другие рельсы.

— Да-а-а, — протяжно подтвердила Марина. — Я вообще люблю русскую прозу — Бунин, Куприн, Вересаев...

Родьков трудно сходилась с людьми, хотя как журналист постоянно общался с ними. Но здесь он сразу почувствовал к женщине расположение. Вроде бы знал ее много лет... И разоткровенничался, даже недавнюю ссору с женой, вспыхнувшую из-за последнего, еще чернового рассказа, выложил.

— Да-а-а, — печально и мечтательно сказала Марина. — Писатели — люди особые... Для меня это — чудо! Вот так, из небытия, и вдруг родить людей, и они живут... И мы, читатели, верим в них, мало — восхищаемся, подражаем.

«Это не Ольга, — подумал с огорчением и какой-то завистью Родьков. — Понимает!»

Наметившуюся связь шефа с новым фотокором Латкин почувствовал точно и тонко не показывая виду, что о чем-то догадывается. Едва в приглушенном громкоговорителе пикало шесть часов и раздавались позывные вечерних передач областного радио, он мигом исчезал, сделав на прощание ручкой и понимающе подмигнув:

— Девочки ждут. Товар скоропортящийся — медлить нельзя.

Или отпускал другую шутку в том же роде и при этом никогда не повторялся.

Больше об отношениях Родькова с Мариной в редакции никто не знал. Разве что уборщица, глуховатая Анна Ивановна, которую и в глаза и заглазно все звали

Матушкой за любимые ее обращения «матушка», «батюшка». Она появлялась в редакции перед обедом — приносила почту, и через час после окончания рабочего дня — приходила убирать помещение. Каждый раз Матушка начинала уборку с кабинета редактора. Слышно было, как идет она по коридору, старчески шаркая больными ногами и разговаривая сама с собой. Родьков с Мариной в это время затаивались и «не дышали». Но раз, то ли заметив под дверью полосу света от настольной лампы, то ли с улицы тускло светящееся окно, Матушка перво-наперво дернулась в отдел информации, попыталась открыть кабинет своим ключом и недовольно проворчала за дверью:

— Что ль, пьянствуете, мужики? Ужо редактору доложу...

«Мужики» не отозвались, только замерли, испуганно переглянулись. На следующий день Анна Ивановна, придя с корреспонденцией, заглянула в отдел информации. Севка в то время был в командировке.

— Ты у меня не балуй, Николай Петрович!

— О чем вы, Матушка?

— Сам, батюшка, знаешь... В редакции давно таких делов не заводилось.

Родьков сразу понял, на что намекает уборщица. Проницательная Матушка верно усекла, было у нее на такие дела особое чутье: прежнего редактора сняли за «аморалку». Кто-то из редакционных прислал его жене фотографии одного пикника, а та с ними в райком прибежала. Подобные пикники прежний шеф любил, любил молоденьких девочек, которыми заполнял все вакансии. Заведующим отделами приходилось самим пахать за новоиспеченных журналисток. Работалось тогда тяжело, каждый тянул за двоих, но мало кто роптал, разве что старички да правдолюб-бухгалтер. «Встряски для разрядки» — пирушки, загородные пикники с податливыми девочками, — устраиваемые обычно по пятницам, все ожидали с нетерпением, с потиранием рук в предвкушении будущего веселья. После инцидента с компрометирующими снимками редактора сняли, редакцию основательно потрясли, вызывая в райком по одному всех и на бюро — коммунистов, подчинили и вынесли решение о работе с журналистскими кадрами. Райком взял работу подновленного коллектива редакции под особый контроль.

Матушка особенно не пыталась Родькова, лишь поворчала для острастки. На пару дней они с Мариной притихли, а потом свидания возобновились.

— Ой, матушки, опять свет оставили, — прошаркала по коридору уборщица. — Только и пишут про экономию, бухгалтер за свет в туалете мне сколько раз выговаривал. А сами?..

— Я свет в коридоре забыла выключить, — прошептала Марина. — Завтра Матушка станет доискиваться последнего, а ключи у меня...

— Ладно, я заберу их... А теперь надо выскальзывать.

Они «выскальзывали» так каждый раз. Когда стихали в глубине здания шаги уборщицы, чуть приоткрывали дверь и по одному, на цыпочках, выходили из кабинета.

Выпроводив Марину, Родьков обычно задерживался на крыльце, ожидая, когда она скроется из виду. Лишь после того спускался по ступенькам на утопанный тротуар, не торопясь закуривал, оглядывал заснеженный сквер с жидкими топольками, тихую улочку с одиноким фонарем на столбе и сворачивал за угол, направляясь к дому. Он успел полюбить эти чуть припозднившиеся возвращения, шел по улицам, «как пенсионер на прогулке», шутил он сам, всматривался в лица редких прохожих, случалось, узнавал кого-то и легким кивком приветствовал. Утром ему хватало на этот путь минут десяти, а сейчас прогулка затягивалась на полчаса.

Ольга не спрашивала, почему муж задерживается. И прежде случалось, что на час-другой, особенно в газетные дни или когда в номере шел его новый рассказ, он оставался в типографии до сигнального экземпляра. Жена молча разогревала ужин, молча подавала на стол и уходила в комнату. Поужинав, Родьков смотрел телевизор, если там было что-то интересное, или звонил кому-нибудь из старых друзей, с которыми в последние после женитьбы три года поддерживал в основном телефонную связь. Болтал с приятелями о пустяках, убивая время, а потом, когда разговор окончательно истощался, он, будто спохватившись, прощался, мол, ему должны позвонить по срочному делу, и вешал трубку. Шел в свои рабочие апартаменты, как окрестил про себя кухню. Накинув на дверь полотенце, наплотно закрывал ее и садился за стол — писал или за машинку — перепечатывал. Ольга, когда они бывали в хороших отношениях, подначивала:

— Вот в былые времена! Писатель. Писательская лаборатория. А теперь? Кухня. Писательская кухня.

Родьков не обижался. Так же с шуткой он выпроваживал жену в комнату, говоря:

— Иди, не мешай «стряпать». Слышь, во мне котлы закипают?

— Какие котлы? — в голосе Ольги звучала неприкрытая издевка. — Кастрюльки...

Писал он в основном небольшие рассказы, героями которых были старики и старухи, понимал, что на такой старине далеко не уедешь. Хот рассказы эти пользовались популярностью у читателей «районки», печатались в областных газетах и даже в московских изданиях. Один солидный столичный критик, рекомендуя его прозу читателям толстого журнала, писал: «В рассказах есть та бытовая конкретность, которая делает описание наглядным и убедительным. У автора хороший слух на разговорный язык, что помогает ему живее передать характеры. Все это есть. Но есть и другое — слишком житейское, подчас легкое отношение к тому в людях, что требует более

глубокого взгляда, духовной пристальности. Этого внутреннего повзросления, возмужания мне и хотелось бы пожелать молодому автору». Тогда, получив свежий номер журнала, Родьков с нетерпением и трепетом искал свою фамилию. В один присест, морщась от редакторской правки и сокращений, проглотил пяток страниц, отведенных циклу рассказов «Попутчики». Его здорово задели последние слова критика, хотя, подумав, Родьков в чем-то согласился с ним, но принимать совет «мэтра» всерьез, как программу, не нашел нужным. Писал себе и писал про «старичков», к чему больше лежала душа. Взяться же за другую тему не находил в себе ни сил, ни особого желания. Севка не раз подбивал:

— Слушай, Коля, кончай ты косточки пенсионеров обсасывать, старичков-чудаков выводить! Здесь Шукшин все вычерпал... Напиши-ка ты нам детектив... с продолжением. Хочешь — сюжет подарю?

И каждый раз дарил все новые и новые анекдотичные сюжеты из городской и своей личной жизни. Сюжеты были веселенькие. Севка прямо-таки ржал, смакуя отдельные моменты. Родьков, слушая его, тоже не мог сдержать улыбки и часто не понимал, чем она вызывается: действительно небывалым случаем или ржаньем самого «пресс-сплетни».

— Коля, Барсов в командировку меня отсылает, к лесорубам, в Горлановку. Придумай что-нибудь, махнем вместе, — заявила в понедельник в кабинет к Родькову Марина. — А то опять пошлет со мной трепача Латкина или скворчуна Клушина. Придумай, а? С ночлегом махнем. У меня там школьная подруга медсестрой работает.

На планерке, когда Барсов расписал планы выпуска газеты на неделю, оказалось, что информацией редакционный портфель набит плотно, но все одно-сторонней, городской, а с материалами о районных буднях жидковато.

— Сергей Сергеевич, давайте я с Семушкиной съезжу. Сева завтра с сессии возвращается, посидит на «оперативке». А у меня давно очерк свербит о бригаде братьев Кротовых — материал проблемный, — предложил Родьков.

Он знал, на что нажимать, и попал в самую точку — Барсов любил ставить проблемы.

— Да-да, Николай Петрович, — ухватился он сразу за идею Родькова. — Материал очень нужный. Может, дадим полосу. Но сделать надо покрепче: поменьше лирики — сосенок там, елочек, ветерков, побольше дела, конкретности — передовой опыт опиши, да с цифрами, с экономикой... Присмотрись к их работе, вникни — Кротовым есть о чем рассказать, что показать. Выработка у них — одна из лучших в области. Можешь дня на три задержаться. Ну, и попутно прихвати что-нибудь на темы морали или по борьбе с пьянством: пьют там лесорубы что сапожники...

— А ты, Семушкина, снимками обеспечь. Три дня тебе на Горлановку много. На обратном пути за-

вернешь в Суглинки, на кирпичный завод. Фоторепортаж сделаешь...

Марина, оживленная, вылетела из кабинета редактора и через пять минут стояла перед Родьковым в короткой дубленке с кофром на боку. Он писал в это время Севке записку с «цз» на период своего отсутствия. Подумал, что надо бы позвонить Ольге, предупредить, что уезжает. Но при Марине разговаривать с женой не хотелось. Отослал фотокофа в бухгалтерию оформлять командировочные. Марина летала как на крыльях. И пока она «летала», Родьков позвонил жене в школу. Ольга была на уроке. Дождаться перемены он не стал, попросил передать Ольге Алексеевне, что на три дня уезжает в срочную командировку.

Новенький голубой «Лиаз» стоял у автостанции «под парами», выбрасывая на морозный воздух синий дымок из выхлопной трубы. Народу в автобусе было немного. Несколько женщин, неуклюжих от теплой одежды, заставив сумками и баулами проход, расположились на передних сиденьях, разговаривая на весь салон. Корреспонденты пристроились в тепле, на широком заднем сиденье.

Водитель уже подал сигнал отправления, когда в дверцу ввалился пьяненький мужичок, в шапке, сбитой на ухо, с раскосыми по-азиатски глазками.

— Ну-ка, бабоньки, дайте мне проскочить, — разбросав в стороны руки, пытался он перешагнуть вещи баб, но зацепил ручку какой-то сумки и повалился в проходе.

Женщины закричали:

— Черт окаанный! С утра наклюкался. Лупа ты Важайновский...

В несколько рук они легко подхватили мужика, подняли, затолкали на сиденье. Он нехотя отбивался, выговаривая заплетающимся языком:

— Важайновский я... но не Лупа. Митрием меня кличут... Лесник я... А Лупа дурачком был... Я с мальчишек его помню...

Но женщины только отмахнулись от Митрия и снова занялись разговорами. Лесник явно обиделся, выругал их по-матерному. Это баб ничуть не задело. Митрий плюнул в их сторону, долго закуривал, изломав с десяток папиросок, наконец затаился. Оглядел осоловелыми глазками автобус, остановился на Родькове.

— А-а-а, криспондент к нам едет, — встрепенулся лесник и поднялся с места. — Ну, брат, и расписал ты прошлый раз мою бабку...

— Сейчас начнется... — с усмешкой кивнул Марине Родьков и поморщился. Он не любил, когда начинали высказываться о его рассказах в таком тоне и тем более спьяну.

— Как ты ее, а? Криспондент! — усаживаясь напротив и поворачиваясь к Родькову рыжей щетиной, покачивал нетвердо державшейся головой лесник. — Прямо под орех бабку разделал! Имя-отчество не на-

звал, а ее в Важайнове все признали. Мне мужики в лесничестве проходу не давали: «Лихо, — говорят, — твою бабу-колдунью в газетке прописали!» А какая ж она колдунья? Она что, колдовала тебе? Подлец ты, мил человек! Бабка хворь из твоей дрянной поясницы выгнала, а ты ее в комедию вставил. Больше ты к нам, в Важайново, глаз не кажи — вытурит тебя бабушка Ефросинья. Хоть криком кричи — вытурит...

Родьков пытался оправдаться — доказать Мирию, что вовсе не собирался вставлять знахарку ни в какую комедию, написал вполне серьезный рассказ о народной медицине. Но лесник не слушал его, наседав, корил «писателя-расписателя» на весь салон так, что даже бабы-попутчицы обратили внимание.

Бабкину медицину Родьков испытал минувшим летом, что называется, на своей собственной шкуре. Он отдыхал тогда с Ольгой недалеко от Важайнова. С неделю жили они в палатке на берегу заросшей остролистным зеленым камышом и пушистой таволгой Медведки, рыбачили, собирали грибы и ягоды. Не было между ними в то короткое время отпуска ни ссор, ни скандалов. Будто вернула молодых супругов сама обстановка, сама природа своей неброской красотой и непонятной колдовской силой в первые дни знакомства. Просиживали у потухающего костра до ясных ночных звезд, обнявшись, пели негромко. Утром, просыпаясь от холода росистого полога, Родьков слышал, как тоненько посапывает под рукой жена. Свернувшаяся калачиком, как девочка-подросток, она казалась такой маленькой, беззащитной, что у него не хватало духу потревожить ее. Он долго лежал неподвижно, с легким трепетом ощущая тепло жены, пока она, съезжившись от холода еще сильнее, пряча поглубже под мышки руки, не просыпалась. А днем, собирая грибы, они весело аукались, готовили на жарком костре нехитрое варево, хлебали из одного котелка. Им было беззаботно и хорошо, о городе и не вспоминалось, пока у Родькова не схватило спину.

Он полез тогда под куст за подберезовиком и вдруг вскрикнул от прожигающей боли. Сказался радикулит, полученный лет пять назад холодной сырой осенью на армейских учениях. Родьков не мог ни согнуть, ни разогнуть спину, стоял, скрючившись, над кустом и постанывал от боли.

— Что с тобой, Коленька? — бросив корзину, подбежала к нему испуганная Ольга.

Она растерянно металась около мужа, не зная, что делать, пока он не вспомнил о крапиве и не процедил сквозь зубы:

— Крапиву ищи... Крапиву!

Ольга сначала не поняла, а, сообразив, кинулась в лес. Долго не находила нигде крапивы, возвращалась, снова бежала в заросли, потом выскочила с пучком застарелых, почерневших стеблей. Она, видно, не чувствовала ни краснющих, обожженных рук в

волдырях, ни расцарапанной в кровь щеки. Крапива кипятком ошпарила спину, и боль отпустила.

Кое-как дотащившись до палатки, они раздули затухающий костер. Родьков сидел спиной к костру, пытаясь прогреть поясницу. Но это помогало мало.

Ольга побежала в близкую деревню в надежде на помощь фельдшера, но медпункт был закрыт. Плачущую, ее остановила какая-то женщина.

— Ты беги, дочка, к тетке Ефросинье. Авось и поможет... Бывало, она заговаривала, снадобьем от радикулиту лечила. Вон ее изба, под шифером...

Не раздумывая, Ольга метнулась к указанному дому, всполошила, умолила старуху хоть как-нибудь помочь мужу. Бабка выслушала ее сбивчивый рассказ, прошамкала:

— Стрекавой надо бы...

— Да мы уж пробовали!

Потом махнула рукой:

— Ладно, ступайте сюда.

Они едва добрались до деревни. Путь показался Родькову изнурительным и непомерно долгим, хотя не было в нем и километра. У бабки уже парило на плитке в чугушке какое-то варево. Сени и кухня были густо пропитаны его едким запахом.

Растрепанная, сгорбленная, высохшая, как увядшая на корню сосенка, Ефросинья походила на колдунью из самых страшных сказок. Только глаза ее, пронзительно-голубые, цвели на иссохшем до черноты лице ясными, мудрыми огоньками. Рукой, холодной и шершавой, как сук можжевельника, она прогладила Родькову спину, что-то приговаривая себе под нос, обмакнула в варево туго стянутую в пук еловую ветку и этим распаренным веником прохлестала поясницу. Он корчился от боли, но терпел. После парки бабушка наложила на спину голенище старого валенка, обвязала больного по поясу заношенным шерстяным платком и велела сидеть так, пока боль не утихнет. А сама отыскала сучок в половице и, положив на него скрюченные коричневые пальцы, другой рукой поглаживая больного по спине, шептала что-то про «еловые леса да вересовые куста». Родьков пытался вслушаться в слова ее заговора, но толком ничего не разобрал.

От денег, предложенных Ольгой, бабушка отмахнулась, проводила гостей до калитки.

— Поясницу-то, милок, береги, не студи на холоде, — сказала она уже вслед гостям.

К палатке Родьков с Ольгой вернулись на закате солнца. Он чувствовал на спине обваренную кожу, но боли, парализующей все тело, уже не было. Он тогда еще посмеялся, довольный исходом лечения:

— Вот тебе и бабуля — божий одуванчик! Ай, да знахарка! Как она зельем-то... лучше любого доктора. Надо будет рассказец об этом состряпать.

И вскоре действительно написал. Правда, получился у него не рассказ, скорее, очерк с вымышленными именами героев. Но автор был доволен своим

произведением: знахарка получилась живой, как в тот злосчастный день. Только редкое имя ее — Ефросинья — Родьков утаил, называл бабу просто Знахаркой.

— Ты думаешь, я тебя не признал? — не унимался между тем Митрий. — Ан, нет, я тебя сразу углядел. Ты еще к нам в лесничество приезжал, потом на речке с бабой жил. Я ж все помню!..

Митрий явно трезвел и уже не пересыпал свою речь матом. Только сетовал, будто укорял Родькова за несправедливо расписанную им мать-старуху. Потом он и вовсе затих, привалился к стеклу головой, задремал, то и дело шмыгая во сне носом.

Марина непонимающе, во все глаза, смотрела то на Родькова, то на пьяненького попутчика.

— Потом как-нибудь расскажу, — отмахнулся от ее расспросов Родьков.

За полдень приехали в Горлановку. Поселок растянулся на высоком берегу реки, разбросав по широкой поляне сборные деревянные домики-близнецы. По скрипящему, раскачивающемуся мостику, устроенному из натянутых тросов, застеленных досками, перешли на другой берег, к конторе.

Начальник лесопункта Брагин, с лицом обветренным и грубым, будто вытесанным из мореного пня, а фигурой смахивавший на медведя средней величины, стоя на высоком крыльчке, отчитывал двух подгулявших рабочих. Увидев подходивших корреспондентов, он тут же припугнул лесорубов:

— Я вас, горланов, сейчас в газете прохвачу! Вон корреспонденты приехали.

Подав Родькову тяжелую ладонь:

— В тепле побеседуем?

В кабинете Брагина было жарко, терпко пахло застарелым табачным дымом. Рассевшись в неуклюжие, глубокие кресла, поговорили о малой комплексной бригаде братьев Кротовых. Решили ехать к ним на делянку завтра с утра.

— Ночевать-то где думаете? В Доме приезжих или, может, у меня? — привычным жестом потянулся Брагин к телефону. — Сейчас о ночлеге распоряжусь...

— Нет, не надо. Мы у знакомой переночуем, — вмешалась Марина. — Тут моя школьная подруга, Зина Ласточкина, у вас медсестрой.

— Ну смотрите, — не стал настаивать Брагин. — Вон, за речкой, дом с зеленой крышей, — показал он в окно. — В левом крыле ее квартира. Устраивайтесь, отдыхайте. В клуб вечером сходить можете, картину крутят. А больше у нас — какой отдых? Разве что магазин... — подмигнул он Родькину. — Ну, всего! Завтра в семь дрезина уходит. Прошу не опаздывать.

Зина в тоненьком пестром халатике, мятом и забрызганном, заканчивала стирку. Страхнув в тазик хлопья пены с рук, бросилась к подруге:

— Ой, наконец-то! Все обещаешь-обещаешь... Наконец-то заехала.

Она быстро свернула стирку. Пока гости располагались, наскоро прибрала в комнате.

— Побегу к заведующей. Мне сегодня с восьми вечера дежурить. Может, подменят...

— Да не хлопочи ты! Мы же не на одну ночь, — пыталась остановить ее Марина.

— Нет-нет, попробую.

Пока Зина бегала к заведующей, гости осматривались в квартире. Было здесь по-холостяцки скромно. Две кровати под яркими пикейными покрывалами, высокие тумбочки, складной полированный стол, полка с десятком-другим книг и яркие журнальные картинки, приколотые булавками к обоям.

Марина было прижалась к Родькову, но тот отстранился, шутливо улынувшись:

— Опять гонишь?.. Впереди долгий вечер и еще два дня.

Она не обиделась. Только многозначительно погрозила ему остреньким пальчиком.

Медсестра вернулась как в воду опущенная:

— Не подменили, ребята... Некому...

Но пребывала в расстроенных чувствах недолго и, собирая на стол, будто порхала из комнаты в кухню, весело переговаривалась с подружкой, изредка обращалась к Родькову. Он сразу заметил в ее движениях какую-то очень знакомую легкость и с удивлением поймал себя на мысли, что так же скоро, непринужденно занималась домашними делами его жена.

За столом, внимательно присматриваясь к новой знакомой, Родьков невольно отмечал в ее манере держаться, в быстром, негромком говоре и даже во внешности что-то общее с Ольгой. Медсестра чуть морщила высокий открытый лоб у тонкого переносья, вспоминая в разговоре с подругой имена общих знакомых. Так же морщила лоб и Ольга. Вилку Зина держала, чуть отстранив мизинец, смеялась, прикрывая рот ладошкой, разговаривая, облизывала кончиком языка губы, и при удивлении округляла темные глаза. Эти же привычки Родьков хорошо знал у Ольги. Он начинал сравнивать Зину с Мариной и находил в медсестре больше приятных ему черт, лицо ее казалось ему добрее Маринино, характер мягче, приветливее.

— Ладно, что вдвоем в комнате заночуете? — спросила Зина. — Соседка моя сейчас в отпуске, ее кровать занять можно. Ничего, надеюсь, не случится... — озоровато подмигнула она подруге и тут же добавила нарочито серьезным тоном: — Нет, вам нельзя. Вы журналисты — лицо района.

Просидели за столом почти до восьми. Уже собираясь на работу, Зина вспомнила:

— Печку-то сумеете истопить? Дров там на вечер хватит. Ой, маета нам с дровами: привезли чурок, а колотить некому. То сами мучаемся, то ребят попросим...

— Станет скучно иль нечего делать — колун в коридоре, — уже с порога в открытую намекнула она.

— Начнем хозяйствовать, Марик? — спросил Родьков, когда они остались вдвоем.

Присел у топки, развел огонь. Марина стояла позади, наклонившись и обнимая его за плечи. Ее рыжие волосы спадали ему на глаза, заслоняя свет, будто путались в таком же рыжем пламени. Было хорошо и тепло от разгулявшегося в печке огня, скользящих по лицу мягких волос и ласковых женских рук, шекотавших шею. Но он переборол приятное состояние:

— Пойдем, дров, что ли, поколем...

Работа пошла весело, превратилась в игру. Марина выкатывала из снега березовый кругляш, ставила его «на попа», загадывала, за сколько ударов можно расколоть. Но Родьков, поначалу увлекшись работой, скоро перестал слышать Марину. Вспомнил вдруг Зинины слова о «лице района», подумал: «Надо ли было затевать все это?.. Узнает Барсов — мигом полетим оба...» Но боязни при мысли о таком исходе не испытал.

В печке уже прогорели дрова, и красные угли источали мелкое голубое пламя. Родьков сидел у топки, изредка пошевеливая в ней кочергой. Марина, попросив его не входить в комнату, занималась там своими делами. Он слышал, как она негромко напевает, и краем глаза ловил через открытую дверь ее отражение в темном окне.

Скоро Марина вышла. Гладко расчесанные волосы волнистой гривой спадали на ее плечи. Тонкий зеленый халатик, расцветки «шляпинских» обоев, не скрывал полноватой шеи. Стройные ноги в тапочках, подбитых заячьим мехом, ступали чуть слышно. Высокие бедра пружинисто покачивались. Родьков мельком заметил тонкое голубое кружево, проступавшее из-под халата, и рука его коснулась гладкого тугого колена.

Топка дышала жаром.

— Смотри, не спали меня, — засмеялась Марина, мягко усаживаясь к нему на колени.

Руки ее сильно обвили шею, глубоко зарылись в волосы быстрые пальцы.

Целуя Марину в плечо, Родьков разглядел несвежую, заматую по краям, кружевную тесемку, и его вдруг передернуло — у Ольги такого не было. Рука ощутила пупырышки на спине Марины, и неприятная дрожь пробежала у него по груди.

— Тебе холодно? — спросил он.

— Смеешься?..

— Хм... — Родьков опустил руку. — Давай покурим.

Недоумевающая Марина нехотя слезла с его колена, застегнула, одернула халатик. Усмехнувшись, оперлась локтем о дверную притолоку, с издевкой поглядывала на Родькова.

Он нервно ходил по тесной кухоньке, мусоля сигарету.

— Не дело мы с тобой затеяли, Марина...

— Гонщик, тоже мне! Лошадей, лошадей... Жену вспомнил? — вспыхнула и зло сверкнула она желтыми глазами.

— Не знаю, — пожал Родьков плечами. — Но все это не то...

— А что, что тебе надо? Мальчишка! — крутанулась на месте Марина и скрылась в комнате, хлопнув дверью.

Он слышал за стеной ее приглушенный голос, видно, ругань по своему адресу. Спустя минуту-другую тяжело скрипнули, будто вздохнули, пружины кровати. Родьков не пошел утешать женщину. Снял с вешалки пальто, оделся.

— Закройся, — громко сказал он с порога. — Я в Доме приезжих заночую. И не забудь — завтра в семь в конторе. На делянку едем.

Фонарь на улочке заливал желтый снег ломким холодным светом. Мороз обжигал лицо, кончики пальцев. Тощие серые тени от забора решеткой перегородили дорогу. Сочный скрип снега резал слух. «И ничего не случилось...», — устало усмехнулся Родьков, вспомнив Зинины слова, и подумал, что ни к чему была эта поездка в Горлановку и вообще вся связь с Мариной.

ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ

Повесть

Желтизна в лице Григория появилась как-то сразу. Он был тогда еще крепок: сам готовил дрова, пилил, коллол, сам потихоньку-помаленьку по соседским огородам, лесным бочажинкам, канавам, полянкам накашивал за долгое лето на корову, сам держал в порядке дом — где крышу подлатает, где прохудившуюся стену проконопатит, где пошатнувшийся забор починит. Евдокия больших забот по дому не знала. Ее дело поесть сготовить, огород ухаживать, поило корове дать, подоить. Дел домашних старики не торопили, работали, сколько хватало сил, не надрывая себя, но и без дела не сидели; если по телевидению не показывали интересного фильма, спать ложились засветло, и затемно, по многолетней привычке, вставали. Евдокия поднималась раньше, растапливала русскую печь, ставила самовар, заложив внутрь, под крышку, три-четыре яйца, разогревала еще чего-нибудь к завтраку и потом, когда самовар вскипал, приглушив его, вынимала с пару крутые яйца, заваривала в фаянсовом чайнике крепкий чай, будила мужа. Спал он последние годы отдельно, на печи, где зимой, в холодную пору, всегда было тепло, а летом, в душную, прохладно.

В то утро Евдокия, как всегда, собрала завтрак, привычно громко, на всю избу, крикнула:

— Григорий, вставай!

Обычно за занавеской тут же начиналось шевеление, показывались худые мосластые ноги старика,

слышалось его сонное бормотание, и сам Григорий спускался на корзинку — деревянный топчан у печи, а с нее на пол. Но тут после оклика Евдокии занавеска не шелохнулась. Старуха продолжала возиться с ухватами, ставила на под котел с картошкой, чугунок со щами. Лишь закрыв зев печи закоптелой заслонкой, она заметила, что муж не проснулся. Откинула занавеску — Григорий спал, тяжело всхрапывая. Рот его от неудобно подложенной подушки был перекошен, виднелись прокуренные, но еще крепкие зубы. Свет электрической лампочки падал на лицо старика, и глазницы казались глубокими, нос крупным, ноздрястым. Но не это поразило Евдокию. Она вдруг увидела — чего не замечала раньше, — что морщинистая, в серой щетине по скулам, кожа на его лице совсем желтая. У старухи мелькнула было нехорошая догадка, но она тут же оборвала себя: «Свет это все. Лампочку поярче уже велю вернуть...»

— Гриша, вставай, — тронула его за плечо. — Ишь, разоспался-то.

Старик дернулся, не сразу открыл глаза.

— А? Что? — спросонья пробормотал он. — Что такое?

— Вставай, говорю. Самовар поспел.

— Эва как я! И не слышал... — Старик стал слезать с печи, одеваться.

— Табачину жрать меньше надо, — ворчала в кухне жена. — Надымишь — хоть топор вешай. Я фортку уже час открытой держу, а все вонь стоит, не проходит...

Ворчала она так всегда, для порядка, и муж понимал это, привык за полвека совместной жизни, по-малкивал себе и, пока старуха бранилась, одевался, шел на двор по нужде, потом к умывальнику, садился за стол. Место его было в «красном» углу, под образами. Евдокия сидела напротив. Прежде по сторонам от родителей рассаживались дети, каждый на своем месте. Но они давно уже выросли и сами остарели, жили отдельно, своей жизнью: два сына, старший и младший, в Москве, дочь, средняя, на Севере, в Норильске. Старый дубовый стол за ненадобностью и громоздкостью давно вынесли, поставили в садике, под вишни, и там он никак не мог догнить, еще надежно и верно служил хозяевам: Григорий любил вечером посидеть за ним с соседом Павлом Тоболкиным, старым своим товарищем, не торопясь, за мерным разговором раздавить чекушечку водки или бутылку «гнилушки» — дешевого плодово-ягодного вина, тут же сорвать прямо с грядки, смотря по поре, перо лучку, метелку укропчику, пупырчатый, хрусткий и мокрый от недавней поливки, огурчик и закусить. Евдокия использовала этот широкий стол для переборки рассады, складывала на нем яблоки-падалицу, подкопанную по первости картошку-синеглазку, налитые соком корни редиски, свеклы, моркови, вороха сухого, скрученного, как ржавая проволока, гороха. Редко, когда приезжали на лето со

своими семьями дети, стол чисто вытирался, рассохшиеся, ставшие от дождей и солнца темными, доски накрывались газетами и клеенкой, появлялась закуска, выпивка и здесь же, под открытым небом, как говаривал Григорий «на улице», устраивалось застолье. В доме же стоял новый, покрытый пластиком в цветочках, раздвижной стол. Купили его в поселковом магазине, когда еще только-только первые такие столы появились в продаже. Хоть и жиденький он был, но всегда под клеенкой, береженный хозяйкой, служил старикам исправно.

За чаем, держа на растопыренных пальцах глубокое фаянсовое блюдо и тонкой струйкой дуя в него, Евдокия присматривалась к лицу мужа, проверяла, показалась ей давеча желтизна или нет. Тот жевал не торопясь, запивал макароны чаем, и в лице его, умытом, посвежевшем, без остатков сна, вроде бы и не было никакой желтизны. «Привиделось сослепу», — подумала тогда Евдокия и, совсем успокоившись, налила себе третью чашку.

Месяц-другой Евдокия не замечала болезни мужа. Григорий вставал по утрам по первому ее зову, завтракал, принимался за домашние дела, которым не было никогда ни конца ни края. Но как-то вечером — морозы уже стояли трескучие — он принес к завтраму охапку дров, бросил их под шесток и тут же опустился на табурет, тяжело, как рухнул. Евдокия отложила залатанную рукавицу, сдвинула на нос очки, поверх стекол поглядела на мужа.

— Ты чего, ай спина? Ну куда такую прорву та-скаешь! Поменьше бери, немолодой уж, лучше другой раз сходи, — по привычке стала она отчитывать старика.

— Да что здесь? Немного, — махнул он рукой и тут же снова взялся за грудь. — Вот только воздуху не хватает, задыхаюсь на холоде.

Евдокия пристальней взгляделась в его лицо, заметила побелевшую горбинку носа, а сквозь бледность щек — ей показалось — выступала та же желтизна.

— Не валяй дурака, старый! А ну, раздевайся! — скомандовала она. — На нем лица нет, а все туда же...

— Корова вот сена брошу...

— Ужо сама брошу, — оборвала Евдокия. — Снимай фуфайку, кому говорят?

Григорий со старухой не спорил. Стащил с плеч телогрейку, у порога обмел голиком с валенок снег, молча полез на печь.

— Прогреюсь — вот и отойдет, — говорил он из-за занавески. — Дуняша, ты сено-то у стены, что к Тоболкиным, бери, там зыбуновское, с осочкой. Огородное-то побереги, Красавка отелится, тогда уж...

— Ладно тебе, знаю.

— И глянь, не сдуло ли плащ-палатку. Окно я ею давеча завесил.

На сеновале Евдокия бывала редко, только когда сено поднимали вверх — муж подавал снизу, она

принимала, укладывала — а так все заботы о корме для коровы лежали на Григории. Всю жизнь они держали скотину, сменили за свой век десяток коров, и Григорий привык к этому делу. Ухаживал за животинной с любовью, скребницей, как бывало коня своего в кавалерии, холил, кормом хорошим баловал. Красавка была корова удоистая. Таких только две на памяти: эта вот да еще довоенная, Красотка. С коровами ведь как: то крепкая попадет, зажмет молоко, все руки повыдергивает Евдокия, до конца не выдоит, то яловая через год ходит; то блудливая, из выгона домой бегают; то промеж молока чуть ли не полгода ходит. С такой скотиной одно мучение. Но что Красотка, что Красавка — коровы славные. После отела и в летнюю пору за раз по ведру молока давали, смиренные — хоть под брюхо им полезай, хоть за соски кто чужой дергай, и обе не такие уж крупные, сена немного им надо: пудов двести хватит с лихвой, еще и на лето останется. Последнюю корову Григорий любил особенно. Наверное, потому, что любить больше было уже некого: дети выросли, разлетелись, жена старая, ворчливая, привык к ней, какая уж тут любовь, а до мужского дела ему теперь охоты нет. Совсем иное — корова. Живая душа. Молчит, как обычно и сам Григорий, а все понимает. Он, бывает, выпьет когда, песню спеть любит. Песня у него нехитрая, без начала и конца:

— Пройдет день — настанет вечер,
Пройдет вечер — ночь придет,
Ночь пройдет — наступит утро,
Пройдет утро — будет день.
День пройдет...

Сидит на корзинке или на корточках у лежанки, мурлычет себе под нос и полчаса, и час. Евдокию из себя выведет, та на ругань сорвется:

— Что ты тут волком воешь! Ступай в хлев к корове, там и гнуси сколько хочешь. Певец хренов...

Он не противится. Встанет и вон из избы. В хлеву и без телогрейки тепло. У Красавки бок гладкий, горячий. Григорий облокотится на ее хребет, тянет и тянет песню. Корове хоть бы что, стоит как вкопанная, поглядывает влажным глазом на хозяина, скрипит зубами — жвачку пережевывает, изредка мыкнет, лизнет его по лицу шершавым, как наждак, языком.

— Ну, ну, Красавушка, — прервет он песню. — Что, моя родная? Сенца тебе? Сейчас, сейчас...

Поднимется вверх, выберет лучшего сена, что берег на отельную пору, туго набьет мастину, высыплет в ясли и снова допевать недопетое или вести с коровой долгие бестолковые разговоры.

— Во, Красавушка, Васька-то чего говорит. Продавать тебя велит. Как ни придет, так за старое: «На что вам корова? Мудохаться только... Козы хватит, купите козу...» Шас, куплю ему — козу! Ты мне, Красавка, как живой человек. С тобой и поговоришь, и песню тебе споешь. И молочка литру ты всегда дашь. Мне много не надо, чашку-другую — и сыт.

Нет, козлинное молоко мне и в рот не полезет... Матка вон тоже Ваське тут летось выговорила. Ты, Красавка, всегда нам копеечку дашь, молоко-то нынче дорогое стало, детки-то не больно помогают... Не совру, приедут — всего навезут: и мяса, и рыбки, и консервов и чего-чего не привезут! Бутылочку мне обязательно и матке конфет коробочку. А часто ль они бьют? Что Васька, что Борька, что Аська!.. Их сюда калачом не заманишь. Только советовать горазды, будто не знают: с пенсии не больно-то разбежишься. Не молоко бы, сидели без телевизенья, по старинке...

Бывает, Григорий и задремлет так, опершись на корову или обняв ее за шею. Лишь за полночь, протрезвев и утомившись, воротится в избу, неслышно для жены заберется к себе на печь и там затихнет.

В тот вечер Евдокия сама задала корове корму, а Григорий, пригревшись на теплых кирпичках, заснул и уже до утра не просыпался. Во сне он покряхтывал и охал, жена не раз заглядывала к нему за занавеску, но будить на ужин не стала. Сама перехватила кое-чего, попила чайку, посидела в комнате перед светящимся экраном и, не досмотрев передачу, легла спать.

Сон долго не шел к ней. Старуха все думала о муже, перебирала в памяти прожитое и пережитое вместе. Ей многое вспомнилось, и показалось, что в жизни-то было лишь только хорошее, светлое. В памяти не осталось ничего дурного и злого, хотя всякое порой случалось, всякое... Всей душой Евдокия ощущала, как ей жалко сейчас своего старика, каждая клеточка ее тела сжималась от боязни одиночества, и что-то ныло, ныло внутри так, что хотелось вскочить и зарыдать по живому мужу, как по покойнику.

— Гриша, Гриша, родный ты мой... Что ж я тебя все дергаю и дергаю? Слова всю жизнь сказать не даю... — шептала она и чувствовала, как жжет висок слеза, как холодеет там, где бьется сердце. — Прости ты меня, Гриша, что нелюбый был. Ну что я с собой сделаю, коль другой в сердце? Тятка с мамкой всю жизнь мне испортили, отдали за тебя. На коленях молила, тебя просила: «Не хочу, не хочу...» Что ж ты, Гриша?

Полночи она причитала так, и пора уже было крикнуть первым петухам, когда наконец-то, потеряв ощущение времени, Евдокия заснула. Утром она встала так же рано, как всегда, захлопотала в кухне, стараясь сготовить к завтраку что-нибудь повкуснее, получше. Заварила молочную лапшу, взбила яйца на сливках — приготовила омлет, в щи положила кусок постной свинины больше обычного.

Она вдруг вспомнила, что в яме под картошкой спрятана початая бутылка водки, что еще летом, когда Григорий как раз в разгар сенокоса, было «зачертил», она отобрала у него. Евдокия спустилась в подполье, разгребла клубни, достала поллитровку и, обтирая ее руками и фартуком от песка, появилась в люке. Григорий уже проснулся и сидел, свесив ноги, на краю печи. Вид у него был усталый, изможден-

ный. За одну ночь под глазами натекли мешки, лицо осунулось, оттопырились большие уши, выдался крупный хрящеватый нос, в глазах стоял нехороший воспаленный блеск.

— Занемог я, Дуняша. Поддай-ка градусник, — слабым голосом попросил старик.

Евдокия сунула бутылку под табурет, метнулась к посудному шкафу, где в большой старинной чашке кузнецовского фарфора, подаренной им еще на свадьбу, хранился запас таблеток от головной боли, пузырьки с высохшими от времени лекарствами, что в пору чьего-то недуга выписывали им в поселковой больнице, лежали пипетка и термометр. Она нашла его, встряхнула, глянула на свету, подала мужу.

— Ты слез бы. Что там в жару тебе градусник покажет? — несмело, сама себя не узнавая, предложила она. — Я вот поесть кой-чего тебе собрала. Давай меряй — и к столу.

— Не хочется есть-то. Покурить бы...

— Постой ты со своей поганой соской, — одернула его Евдокия, но в голосе ее не было прежней властности. — Слезай, дай-ка я подсоблю. Сейчас лапши, яишенки поешь, и полегчает, — приговаривала она, помогая старику спуститься. — Не вечерял — совсем, поди, ослаб. Сейчас стопочку тебе налью, глядишь, и силы воспрянут.

Пока Евдокия поддевала кочергой и вытаскивала с жару кастрюлю с лапшой, сковороду с омлетом, ставила на стол тарелки, ложки, чашки, самовар, Григорий сидел тут же, напротив нее, мерил температуру, придерживая градусник под мышкой.

— Ну, хватит небось. Что там у тебя? Дай-ка, — накрыв на стол, сказала жена.

Старик замешкался, чуть не выронив, с безразличием, и краем глаза не полюбопытствовав, подал ей термометр.

— Э-э-э, совсем здоров, — с деланной бодростью попыталась засмеяться Евдокия.

— Какой здоров, Дуня. — Старик уловил ее притворство. — Что-то внутри тянет, будто оборвалось что. Жару-то и вчера совсем не было. Уж не рак ли у меня, Дуняша? — сказал и сам испугался, и такая мольба послышалась в его голосе, что у старухи похолодели руки, ее будто пошатнуло даже, она чуть не выронила термометр.

— Будет болтать-то! Рак, рак... Вон, у мамки рак признали, так она сколько до того хворала. А тут тебе в одночасье: раз — и рак! — успокаивала она старика, а сама словам своим ни на грош не верила.

Помнила, что и у матери так же вот в один миг болезнь приключилась. Это потом уж она, как воск, на глазах стала таять, а сколько до могилы-то прожила, поди, лет пять. Тогда сына ее Софрона, старшего брата Евдокии, поездом в Ленинграде зарезало. Мать как получила телеграмму, так охнула, села, и болезнь с той поры пошла. Ее и в город потом возили, большим врачам показывали. Те сперва печень

больной признали, от печени года два лечили. Это после, как нашли настоящую-то болезнь да операцию сделали, сказали детям, что нет надежды. А мать сразу, как только захворала, побожилась: «Рак это у меня, ребята. Ей-богу, рак!»

Григорий знал всю эту историю, сам возил тещу в больницу, поэтому утешать его заведомой ложью Евдокии было очень неловко, но сдерживалась, крепилась, подбадривала старика, а про себя думала: «Ну откуда у него раку взяться? Беды никакой не было, откуда так, сразу?»

— Будешь так думать — и впрямь хворь пристанет, — боясь называть само страшное слово, говорила она. — Вот мы сейчас выпьем, внутри у тебя все и согреется, как рукой, глядишь, снимет.

— Откуда это? — кивнул Григорий на выставленную, наполовину опорожненную поллитровку. — Мне что-то и не хочется...

— Забыл, поди? — насильно улыбнулась Евдокия. — Еще летошняя, с покосу тобой не допитая. Вот и пригодилась к случаю, — сказала так и смутилась: не то сказала, не так.

— Летом бы ее и выпить, — ни обиды, ни упрека не было в голосе мужа, — а сейчас какой случай? Не пойдет...

— Пойдет — не пойдет, а надо. Это тебе что лекарство. Давай, Гриша, по стопочке.

Старики выпили, и Григорию, правда, полегчало. Он хорошо, плотно поел, напил крепкого чаю, совсем ожил. Сидел на своем любимом месте, у печи, против топки, курил, пуская в дымоход табачный чад, шутил:

— К обеду в лавку сбегаете еще за чекушкой, так я, гляди, и спать под твое одеяло переберусь.

— Да полно тебе, хвастун экий! Я забыла, как это и делается, — смеялась чуточку захмелевшая Евдокия, а в душе тревога мешалась с надеждой: «А может... может, пронесет беду?...»

С рассветом Григорий стал одеваться, собираясь дать корове сена, расчистить в заулке снег, подправить в сарае поленницу. Жена было оговорила его:

— Плюнул бы на все, отдохнул, вдруг опять прихватит. Дела не волки, в лес не уйдут, все равно всего не переделаешь.

— Нет, пойду. Чего так сидеть? Ты откуда сено-то корове вчера давала?

Жизнь их, казалось, не изменилась. Григорий так же справлял потихоньку заботы по дому, выпивал в меру — с пенсии да с соседом, под настроение, на здоровье не жаловался. Но Евдокия, приглядываясь к мужу, замечала в нем перемены. Старик похудел, стал забывчив, спал беспокойно, от выпивки хмелел очень скоро, становился злой, дерзкий и спяну начинал пороть такое, на что прежде не осмеливался: упрекал жену, что та дыхнуть ему не дает, грозился корову свести в заготовку, продать дом, уехать в Москву к сыновьям.

— Полно хреновину-то молоть, — не властно, а с каким-то, прежде не свойственным ее крутому характеру, смирением одергивала его Евдокия. — Шел бы спать, купец-ездок. Дурь-то из башки выкинь, у ребят своя жизнь, свои семьи. Чего им мешать?

Летом Григорий начал было сенокос, но помахал косой утро-другое и слег. Евдокия вызвала фельдшерицу, та осмотрела больного.

— У вас что-то с печенью. Надо в больницу лечь на обследование. Я выпишу направление, пришло за вами машину.

— Знаю, Петровна, какая печень, — горько скрипил рот старик. — Ты уж прямо выкладывай — рак у меня. Чего уж там скрывать-то, сам чую.

— Ну почему же рак? — спокойно развела руками фельдшерица. — Я больше чем уверена, что печень. Полежите в районной больнице — там вас посмотрят, подлечат. Уколычики сделают, и на поправку пойдете. Еще и с покосом успеете... — на ее лице мелькнуло подобие улыбки, но глаза под овальными стеклами очков выдавали внимательному взгляду Евдокии, пристальному взору старика тревогу.

— Нет, Петровна, ни в какие больницы я не поеду. Вот отлежусь — в лес пойду, травок, ягод наберу, может, выхожусь, а в больнице вы меня совсем сморите.

Фельдшерица настаивала, но старик держался на своем.

— Ладно, дочка, оставь его, — вмешалась в разговор Евдокия. — Мы тут сами как-нибудь... Коли хуже станет, тогда уж...

С неделю пролежал Григорий в постели, а как немного поправился, стал ходить в лес, подолгу пропадал там, вызывая беспокойство старухи.

Он часами бродил по едва заметным тропинкам, которые за весну и начало лета успели порастить плотным зеленым войлоком мха, и трава вдоль них еще не была побита и вытоптана грибниками. Все кругом играло и рябило красками. Косматые, похожие на медвежат, шмели неуклюже переваливались на цветках, пригибая их яркие головки к земле. В воздухе проносилось множество мелких птах, но пения их почти не слышалось — птицам было теперь не до песен, настала хлопотная пора выкармливать, ставить на крыло потомство. Полную силу уже набрала листва. Теплый ветер, напоенный цветочными и травяными запахами, едкой смолой от распаренных жарой сосен, лениво шевелил деревья и угасал высоко в кронах. Присмотрев на солнцепеке поросший густым мхом пенек или поваленное дерево, Григорий садился на него, закуривал и отдыхал. В эти минуты он вспоминал прожитые годы, и на него вдруг накатывало отчаяние: «Как? Вот помру — и все! Останутся Дуня, ребята, лес вот останется, а меня не будет...» Такие мысли и прежде, случалось, приходили ему на ум, но, пока был здоров, особенно не тревожили. Теперь же от них становилось тоскливо, просто невыносимо. Пытаясь заглушить их, выгнать из головы,

Григорий вскакивал с места, бросал окурки под ноги, крепко втоптывал его в землю и ходко припускал по тропинке. «Жить, жить... Буду жить! — упрямо твердил он себе и взывал вдруг то ли к Богу, в которого никогда всерьез не верил, то ли к лесу: — Ну помоги же мне, вылечи!..» Но лес, равнодушный к его мольбам, молчал, и неведомый Бог не давал ответа.

Григорий вспоминал, зачем пришел сюда, заставлял себя встать и среди смешанного леса выискивал березы потолще с бурыми наростами чаги: слышал, будто бы чай, заваренный ею, помогает от рака. Не веря в «уколычики» фельдшерицы и прописанные таблетки, он надеялся на целебные свойства чаги как на последнее средство своего спасения. Березы с бородавками гриба на стволах попадались нередко, но достать их было не так-то легко. После тщетных попыток сбить нарост, бросая в него топором, Григорий часто оставался ни с чем, но не рубил березу, шел дальше искать другое дерево, где чага росла бы пониже. И, словно благодарный за это, лес увлекал его в свою глубину, где у пропеченных полянок в чащаре и других потаенных местах прятались «чайные» березы, стелились солнечные заросли зверобоя, пестрела сиреневым цветом и желтым плотная сеть «ивана-да-марьи», вспыхивали рубиновые глазки крупной лесной земляники и костяники, встречались опаловые кусты черники, другие травы и ягоды. Как малец, Григорий радовался находкам, увлекался сбором — клал ягоду прямо в рот, наслаждаясь нежным, душистым соком. Незаметно покидали его тяжкие думы. Он чувствовал лишь легкую слабость в теле и подолгу бродил так по далеким еланям, домой возвращался обычно под вечер усталый, но словно воспрянувший духом, в авоське приносил увесистые комья чаги и пук отборной ягоды.

— Вот, мать, тебе к чаю, — протягивал жене букет земляники. — А у меня свой чай, — невесело усмехался он, приподнимая тяжелую авоську.

У Евдокии в ответ блеснули влагой глаза, но она, подавив себя, старалась скрыть, что растрогана этим запоздалым вниманием, принимала гостинец и начинала ворчливо отчитывать мужа за позднее возвращение. Он же, будто не слыша ее, шел в сени, молча колотил чагу на мелкие куски, заваривал ее в глиняном горшке крутым кипятком, настаивал, и они садились пить чай: Евдокия — обыкновенный, из магазина, Григорий — березовый, из лесу.

Чага ли помогла ему, долгие прогулки, лесные ягоды или еще что, но вскоре старик заметно окреп, посвежел, хотя совсем не выздоровел. Своих хождений в лес он не бросал, не так часто, но отправлялся за березовым грибом, запасал на зиму. В сенах уже стоял чистый мешок из-под картошки, наполненный чагой. Евдокия смотрела на занятия мужа и про себя думала: «Сам себе лекарем стал. Хотя... станешь тут лекарем. Жить-то хочется, не старый ведь, всего за семьдесят. Вон Павел Тоболкин постарше будет, а

здоров как бык, что пить, что косить...» В занятия мужа она не вмешивалась и даже помогала: кипятила воду, раскладывала по полкам дробленую чагу на просушку. Временами в ней самой возникала вера в чудодейственный березовый гриб, в его целительную силу.

За сенокос Григорий больше не принимался, и жена не торопила его, не заикалась, что впереди долгая зима, корове нужно сено, иначе придется сводить ее со двора. Тайком от мужа Евдокия отправила детям письма, писала, что батяка занемог, просила приехать навестить его, намекала, что было бы неплохо помочь в косьбе или деньгами для покупки сена, если смогут. Никто из детей не приехал — сослались на занятость, никто не прислал денег — о них в редких письмах и не вспоминали. Отец между тем все сох и сох, как сохнет на корню можжевельник: вроде бы и зелен еще, а хвоя осыпается, оголяются корявые сучья, не видно черных ягод.

Уже глубокой осенью, с первыми заморозками, когда выкопали картошку, убрали в подполье морковь, свеклу, изрубили, заквасили в бочке капусту, Григорий сам собрался в Москву.

— Поеду я, Дунь. В остатний раз ребят проведу, верно, их здесь не дожидаться. Ты насчет Красавки распорядись тут сама, пока меня не будет. Сена-то ей еще на неделю хватит, — сказал он с вечера, ушел во двор и долго-долго там пробыл.

Утром забрал сумку с собранными Евдокией в дорожку харчами и гостинцами для детей и внуков, сел на автобус и укатил на станцию, успевая к первому поезду.

В Москве он пробыл недели две. И так всю жизнь молчун молчуном был, а тут, воротясь домой, почти совсем перестал разговаривать. Сколько Евдокия ни билась, выпытывая, как там живут дети, как внуки, он отвечал нехотя:

— Живут, чего им... Сыты, одеты...

Ходил угрюмый, насупленный, что филин. Корова во время его отъезда старуха сдала в заготовку. Жалко ей было вести Красавку под нож, хотела продать кому-либо, да покупателя не нашлось: хоть и дойная корова, но стара, двенадцатым теленком. Григорий ни слова не спросил о корове. На третий день Евдокия сама обмолвилась:

— Красавка-то хорошо потянула, выше средней упитанности.

Григорий нахмурился, взгляд его стал дремуч:

— Не говори мне об этом...

— Да вот с деньгами что делать? Совета хочу спросить. Может, ребятам пошлем? — предложила она.

— Нечего, и без того обойдутся, лучше о себе подумай, на сберкнижку положи. Пенсию-то тебе прибавят аль нет — не знаю. На их помощь мала надежда.

Обидели ли отца дети-москвичи, встретили ли плохо или не так проводили — он не говорил и вообще не вспоминал о своей поездке вслух, не хвалил

никого и не хаял, для него будто не существовало теперь ни детей, ни внуков, ни соседей. По привычке он так же занимался делами, но работу справлял уже без старания и часто кое-как.

К исходу зимы, когда отпустили холода и в пасмурном низком небе все чаще стали появляться голубые прогалы и проглядывать солнце, старик ушел в сарай и целый день что-то мастерил там. Евдокия хотела было заглянуть к нему — не пустил, заперся. В избу воротился по-темному, дверь в сарае закрыл на замок, но ключа на место, на гвоздь в сенях, не повесил. Так он несколько дней пропадал взаперти, не допуская к себе жену, на ее расспросы отвечал недовольно:

— Что надо, то и делаю.

Потом он перестал уединяться в сарае, но ключ от него носил при себе. Евдокию грызло любопытство: что там Григорий удумал. Как-то утром, пока топились печь и старик еще спал, она сунулась в его одежду, нашла ключ, отперла дверь и ахнула:

— Господи!

В сарае, наполовину забитом запасом дров года на два-три, стоял наскоро сколоченный верстак, а на нем крашенный суриком гроб. Евдокия несмело подошла к нему, тронула крышку, та подалась, оказалась легкой, из сухих досок. «Берег, хотел избу тесом обшить. Вот и пригодились доски на дом... да не тот... на домовину», — с горечью подумала старуха.

Она понимала, что веку мужа осталось немного, но самый конец его виделся где-то вдали, в неизвестности. А тут, при виде гроба, ей вдруг стало совершенно ясно, что скоро придет он, последний Григорьев час, вот и домовина уже приготовлена, ждет-ожидает своего единственного хозяина; останется она одна в четырех просторных стенах, и некого будет отчитывать, нечем распоряжаться, не за кем ухаживать, не с кем словом обмолвиться. Старухе стало тоскливо, она заплакала, дрожащей рукой накинула на петлю накладку, заперла дверь на замок. Вернувшись в избу, сунула ключ, где взяла, во внутренний карман пиджака, и не сказала мужу, что открыла, знает его тайну.

Жизнь стариков продолжала идти размеренно и привычно, как шла год, и два, и три, и десяток лет назад; только меньше было забот, и с каждым пройденным днем все обреченней становился исход Григорьевой жизни, близилась и явственней чувствовалась их вечная разлука. У старухи проявлялась заботливость о муже, какой прежде она за собой никогда не замечала: исполняла любое его желание, даже если понимала, что оно вредит здоровью, сокращает и без того короткий, оставшийся ему срок. А старик терял и терял интерес ко всему, чаще и чаще среди бела дня забирался на печь, часами пролеживал там в тепле и чах, таял прямо на глазах. Руки и тело его усохли так, что простужали кости, вековая чернота ладоней казалась вошеной, щеки провалились, глаза

глубоко запали и потеряли блеск, желтая кожа одрябля, плохо обтягивала острые скулы, и весь череп стал каким-то заострившимся, угловатым. Одежда висела на нем мешком, не скрывая худобу.

С грустью и болью глядя на старика, Евдокия вспоминала Григория молодым, в первые годы их совместной жизни. Был он мужик как мужик, работающий, сильный, покорный. Только выпьет когда, чудить начинал. Станет, бывало, перед зеркалом, рубаху одернет, плотно заберет под тугой ремень и, вскинув бровь, поведя плечом, спросит:

— Дуняша, я красивый?

— Красивый, красивый, как мерин сивый, — смеялась она. — Гляди, сороки утащат.

А у самой каждый раз западала в сердце тоска, жаль становилось своей погубленной молодости, потерянной любви, не пришедшего счастья. Нет, Григорий не был противен ей — мужик видный, лицом пригож, не одна девка по нему сохла.

Но не лежало у Дуни сердце к мужу. Хоть плачь, хоть головой о стенку бейся — не лежало. Любила паренька года на три моложе себя, Веньку Бертова из соседней деревни Калягино. И встречалась-то с ним всего ничего — весну да лето, а не забылся он и по сей день. Но тятка, после того как сваты Григория ушли и она обмолвилась про Веньку, как отрезал:

— Нашла голь перекатную, да и сосунок еще, женилка не выросла. Не дури, девка, не наводи позор на наши головы. Ужо вожжи возьму, дурь-то из головы мигом выбью.

Венька бежать предлагал, не осмелилась. Смирившись она и всю жизнь потом каялась, а милый ее скоро уехал, так она его больше и не видела. Калягинские бабы, его одногодки и односельчане, встречаясь в поселковом магазине, рассказывали по-разному: кто говорил, что погиб на войне Венька, кто — будто стал большим человеком, ученым, живет где-то в Сибири, вроде бы не то видели там своего земляка, не то слышали что о нем ребята-студенты из Калягина, когда на стройку туда ездили. Этот слух будил в ней самой казавшееся глупым желание: хоть когда-нибудь встретить Вениамина, краем глаза взглянуть на него. Ни о чем другом она не помышляла, но вот эта надежда жила в ней всегда. Не будь этой надежды, знай Евдокия твердо, что нет больше милого на свете — погиб, может быть, все по-иному в семье у нее сложилось бы. Еще раньше, в первые годы замужества, переполняло ее молодую душу, жаждущую ласки других рук, взаимной любви, другое желание: бросить все, узнать у калягинских, где теперь Веня, уехать к нему, пасть в ноги. Все это она представляла так ясно, будто и впрямь что было, как наяву свою встречу с милым видела. И долго, почти до самой старости, виделись ей сны об этом, и после таких снов что-то светлое, неизбывное просыпалось в ее душе, и жила она этим днем, и другой, и третий. По молодости, может, и ушла бы она от Григория, так

порой тошно, прямо неведомо становилось, да страх перед родителями, боязнь людской молвы пересилили в ней горечь, а тут дети пошли, куда с ними побежишь, как от родного отца отнимешь. Жила в ней на мужа обида, что посватался без согласия, вымещала она ее не раз: и домой не пускала пьяного, на крыльце ночевать оставляла, и по щекам принародно била, и вертела им как хотела, почему зря веревки вила. Другой бы мужик за такое вышвырнул жену из дому, отходил как следует вожжами или избил до полусмерти, чтобы знала предел бабьей воли, а Григорий ни разу и пальцем ее не тронул. Да что там пальцем — слова грубого поперек не сказал, был податлив, как мягкая глина. Любил, знать, так сильно, или вину свою чувствовал, понимал и прощал жене все: и окрики, и оплеухи, и ночлеги на улице. Только теперь, с болезнью, стал он таким упрямым и то, может, оттого, что, сжалившись над ним, отпустила вожжи сама Евдокия.

На Пасху Евдокия встала задолго до света. Она провозилась с пирогами, готовкой праздничного обеда до тех пор, пока солнце не проглянуло из-за тына Тоболкиных. Оно высветило кухню молодым золотистым светом, наполнило легким прохладным теплом. «Отыграло солнышко, — мельком подумала Евдокия, — а я и прозевала...»

Ей вспомнилось такое же светлое пасхальное утро. Праздник в тот давний год был необычно ранний, в конце марта. На полях еще лежали под твердым настом просевшие сугробы, дороги были укатаны и крепки, так что в церковь отправились на сани. Из Калягина выехал целый обоз. За деревней в розвальни, где сидели Дуняша с сестрами, ввалились трое парней и погнали лошадь галопом. Девки оторопно визжали, но было им приятно и весело. Смеясь, Дуня толкнула в грудь самого молодого налетчика, только-только начинавшего жениться, Веньку Бертова. Тот не удержался, слетел с саней и в кровь расцарапал острой, как стекло, коркой наста лицо. Она испугалась, выпрыгнула на ходу и кинулась к нему. Кружевной платочек, вышитый зимой для заветного, пока не нашедшего ее, суженого, вмиг стал мокрым и красным. Венька прикладывал его к скуле, смущенно улыбался и отмахивался от ее заботливых рук. Потом во время Всенощной она то и дело искала его взглядом, а после службы сама подошла, будто бы справиться о здоровье. Широкая царапина на лице парня покрылась коричневой коркой, щека и глаз припухли. Дуне было жалко его, и, утешая, она провела с ним всю ночь, гуляя по селу, а когда после Заутрени подводы отправились назад, сказала своим, что задержится, и возвращалась домой пешком с Венькой.

Восход застал их в пути. Край чистого просиненного неба позолотился, из позолоты всплыло солнце и, еще не оторвавшись от лесной ребристой гряды, вдруг полыхнуло радужными переливами. Дуняша и

Венька, ожидавшие этого мига, радостно, в один голос воскликнули:

— Вот, вот оно — играет!..

Сияние длилось всего несколько мгновений, и снова солнце стало накаленно-чистым, а они, завороченные его игрой, еще долго не могли сдерживать восторг и, смолкнув, смотрели то друг на друга, то снова на солнце, ожидая повторения чуда, но чуда больше не было. Впереди, вдоль зимника, лежало глубокое, как ров, русло скрытой льдом реки и не вдалеке, у излучины, слюдой сверкал на верхушке обрыва желтый снег. Будто посыпанная крупной солью, искрилась темная накатанная дорога. Морозный воздух, пронизанный молодыми солнечными потоками, не шелохнулся, и только их дыхание, их смех и голоса тревожили тихое светлое утро.

— Ой, Венюшка, хорошо-то как! — вырвалось вдруг у Дуняши, и руки ее сами собой потянулись к парню, обвинили и пригнули его вихрастую голову.

Шершавая пораненная щека царапнула Дунин висок. Она услышала, как звонко заколотилось Венькино сердце, обмерла и поймала его пухлые с мягким пушком губы. Шерстяной платок ее сбился на ухо, у Веньки упала шапка, но Дуня не замечала ничего, пристыв к его свежим, нецелованным губам, сладко содрогаясь от пьянящей истомы.

Вспоминая то давнее утро, последнюю весну и последнее лето, оставшиеся ей невеститься, Евдокия улынулась, но тут же оборвала себя: «Ой, грех-то какой!» Она заспешила, но завтрак все же собрала позднее обычного. Когда она разбудила Григория, тот не смог встать.

— Все, Дуня! Верно, помру скоро, — повернул он голову на подушке. — И надо же — на Христов день обессилеть.

Она покормила его, стоя на корзинке, поддерживая за плечи легкое, совсем высохшее тело. Собралась сходить за фельдшерницей.

— Не надо, — бессильно махнул старик рукой. — Никто мне уже не поможет. Вот если б до травки дожить, может, протянул бы еще лето. А так...

Днем Евдокия все же сбежала за доктором, благо недалеко та жила. Когда фельдшерница переступила порог, Григорий с упреком посмотрел на жену, натянуто, словно виноват в чем был, улыбнулся:

— Христос воскрес, Петровна.

Та очень осторожно прослушивала больного, лицо ее было холодно и строго. Она выписала какие-то рецепты, выложила из брезентового саквояжа лекарства, велела принять и, еще раз сполоснув под умывальником руки, собралась уходить.

— Что, Петровна, совсем плох? — чуть слышно спросил старик. — В больницу-то чего не зовешь? Конец скоро?

— Нет, нет, успокойтесь. Вас просто нельзя сейчас тревожить. Вот окрепнете немного, тогда и поговорим о госпитализации.

— Мели, Емеля, — окрепну. — Старик с обидой отвернулся и слабой рукой задернул занавеску.

Чутким слухом он слышал, как фельдшерница о чем-то пошептала со старухой, уже громче объяснила ей, когда и как давать лекарства. В ответ на ее прощальные слова в пожелание скорейшего выздоровления старик не пошевелился, лежал без дум, уже не боясь скорого своего конца, ко всему готовый, только остывающее сердце больно жгла обида, что скрывают от него всю правду, не говорят, сколько ему жить осталось.

Старуха проводила доктора, вернулась в избу.

— Давай, Гриша, прими лекарство.

— Нет, не хочу, не поможет, — безнадежно пошевелил он головой. — Ребятам сообщи, может, приедут проститься.

Старик умирал на печи, а на улице разгуливалась, бушевала весна. Вглядываясь из своего темного угла в окно, сквозь двойную раму он видел, как в садике, под вишнями, пробилась из-под снега земля, и чернота ее с каждым днем разрасталась все шире и шире. В открытую форточку забегал теплый ветер и приносил винный запах прели, талого снега и сырого дерна. Старик ловил ртом густую свежесть земли и глотал воздух так, что вздрагивали его губы и ноздри. Он совсем не спал теперь, но почти все время находился в чутком забытье и сквозь него слышал, как старуха ходит по избе, гремит посудой, ухватками, метет пол, нет-нет и заговорит сама с собой вслух.

К этим звукам Григорий давно привык, и они его не тревожили, не отвлекали от дум.

Мысли, как в заговоренном круге, текли в одном русле и были все о том же — о смысле прожитой жизни. Они стали вялыми и уже не вызывали острого беспокойства, надоедливо тянули одну долгую тонкую нить, которой суждено было вскоре, совсем истончившись, оборваться. «Вот и конец скоро, — равнодушно думал Григорий. — Дети выросли, сами по себе... Дела до меня нет никому. Васька — кулак кулаком, Борька — пустой колос, только для себя живет, о Настьке совсем не слышно, письма не пришлет... Как Дуня останется без меня? Мучил я ее, было... И сам мучился... Чего ради? Чтобы свое удовольствие справить, детей наплодить? Нет, это само собой шло... Так что же, что же я не так делал? Дуню против воли взял? Все брали. Ребят распустил? А как их удержишь? Работал, дом строил... Зачем все? Зачем, хм... Надо было. Жить надо было... не хуже других... честно... своей головой, своим трудом... Пако-сти делал людям? Нет же... А помру, и не вспомнят... Останется крест на могиле, и все, земля одна. Не было и нет меня. Прежде не было и скоро не будет. А я ведь жил! Ребятенком, помню, был, парнем... траву косил, шоферил, детей растил, всю войну, считай, от звонка до звонка... Значит, что-то и от меня останется, значит, и обо мне вспомнят. Значит, не зря все...» Старик запутывался в своих мыслях, вновь и вновь

возвращался воспоминаниями в памятные дни прошлого, и плыли перед ним знакомые картины: широкая заводь реки с подернутым тиной заберегом под кустами, а рядом песчаная отмель, где пацаном любил он купаться; Бабская гора с церковью наверху и корявыми соснами на склонах, где гулял с одногодками «в ребятах», свадьба и заплаканное лицо Дуныши, а он без хмеля весел — такую девку высватал; ребяташки родились, потом война...

Ему начинали мерещиться жуткие от пережитого дни и ночи, проведенные на фронте. Вой пронесившихся по улице машин казался гулом вражеских самолетов, заходивших на бомбежку над позицией, где залег их недавно переформированный в стрелковую роту кавэскадрон; хлопанье глушителей мотоциклов — пулеметными очередями; громкие стуки жены на кухне или звук оброненной ею посуды — гранатными разрывами или минометными выстрелами. Вот Григорий со старшим расчета Федором Лошкаревым бьет по атакующим немцам из полевого миномета, стреляют они наугад, часто не различая, где противник, лишь бы не сидеть без дела в содрогающемся от разрывов окопе. Посланная в ствол мина не вылетает. Они трясут, обжигаясь о ствол, станину — выстрела нет. По окопу бежит, пригнув растрепанную простоволосую голову, черный от копоти молодой лейтенант.

— Почему прекратили стрельбу? — разгоряченно хрипит он и трясет перед их лицами измазанным в глине пистолетом. — Под трибунал отдам, расстреляю!..

— Мина зависла... — пытается оправдаться Лошкарев, но, видя бешеные глаза командира взвода, выползает на бруствер, наклоняется над стволом, зачем-то заглядывает внутрь, и в этот миг, вероятно остыв, миномет выстреливает. Обезглавленное тело напарника по расчету тяжелым кулем отброшено в сторону. Оторопелый лейтенант с посеревшим, как известняк, лицом, так что грязь на нем кажется еще чернее, с минуту стоит в столбняке, недоуменно глядя то на миномет, то на тело годного ему в отцы солдата, потом, повернувшись к Григорию, растерянно шепчет сухими губами:

— Как же это он, а?

И вдруг опять истерично орет:

— Что вы стоите, Матюшин? Мины! Где мины?

Сам бросается к ящикам с боеприпасами, выбирает один на бруствер, и пулеметная очередь прошивает грудь лейтенанта. Охнув, он валится на дно окопа, Григорий успевает подхватить его, чувствует, как обжигает ладони горячая кровь, слышит какой-то булькающий хрип командира, видит его искривленные от боли губы с кровавыми струйками в уголках рта, беспомощные мальчишеские глаза с застывшей в них оторопью. Он тянет на себя легкое тело лейтенанта, осторожно переваливает на руку, другой рукой подхватывает под колени, протискиваясь в

узком створе окопа, тащит его к санитарам и, не добравшись до них, видит, как мертвеет лицо, деревенеют ноги, расцепляются серые, перепачканные копотью, глиной и кровью пальцы...

«И меня бы могли тогда... Не убили... А сколько же наших полегло! Вон Иван Мишутов, Николаха Логинов, Пашка Боярченков, Денежкин Михаил... — вспоминал старик своих одногодков из Бабья. — А я жив остался, полвека после них прожил... За себя и за них мне отпущено было... Так чего ж я? Не худшая мне доля досталась... Ну, не было меня и не будет... Останется дом, кто-то в нем жить станет... Село наше, Бабье, останется, поселок наш... Лес шуметь будет, трава, грибы в нем расти, речка течь... Новые люди придут... Так чего ж я? Хорошо, что пожить привелось, спасибо те, Господи... А если б меня не было, совсем не было?.. — Он даже испугался этой мысли и вдруг с радостью подумал, даже улыбка появилась на иссохшем лице: — Хорошо, что не так, не дай бог, чтобы не было вовсе... Благодать-то какая на белом свете пожить!..» На некоторое время к нему пришло душевное успокоение, он тихо лежал в уютном тепле на печи, рассматривал в потолке сучок, знакомый до мельчайшей трещинки, и все улыбался чему-то.

Как-то утром ему послышался свист. Старик насторожился и уже снова стал впадать в забытье, как свист повторился, а за ним — целое незамысловатое коленце. Невидимая птаха, вероятно, еще только пробовала голос после зимнего молчания, и пение у нее получалось короткое, но свежее и пронзительное. «Наша али уже прилетная?» — подумал Григорий, пытаясь по голосу распознать птицу, но не смог. Забылись все их имена, и память никак не могла поймать какую-нибудь весеннюю птаху. Ясно помнилась лишь одна картина, которую видел он, пока не обезножил: грудастые снегири сидели на голых ветках вишни и грелись на первом солнышке. Старик взглянул на окно, и желтый тугой луч, пробившийся сквозь стекло, поразил его: в нем тихо плавали пылинки. Казалось, эти мельчайшие солнечные брызги потоком вливались в избу, наполняя ее теплом и светом. Григорию захотелось протянуть руку и ощутить в пальцах упругость луча, но до него было далеко.

— Дуныша, — позвал он. — Ты бы помогла мне на диван лечь, на солнышко хочу...

— Смогу ли одна? Может, Тоболкина позвать? — забеспокоилась Евдокия.

— Да что во мне и осталось, два пуда. Давай потихоньку попробуй.

Старуха поставила лестницу с боку печи, повернула больного так, что ноги его свесились и оказались против ступенек, осторожно спустила на пол, на кошелках отнесла на диван, уложила, укутала. Старик лежал прямо в луче, закрыв от блаженства глаза, и остывшей, почти безжизненной кожей хоть слабо, но чувствовал, как солнечное тепло проникает внутрь и становится легче дышать, проясняется в

голове, кажется, даже боль, ломящая все тело, проходит. Он пролежал так с час, наслаждаясь солнцем, и попросил есть.

— Вот, вот, — с готовностью захлопотала Евдокия. — А то два дня крошки в рот не брал.

Съел ложку творога и устал.

— Слушай, Дуня, ребят я, верно, не дождусь. Чувствую, помру со дня на день, — говорил он, положив холодную ладонь на руку жены.

— Ну что ты, Гриша, покрепись. Читала ведь тебе их письма, скоро приедут. Как освободятся от дел, так и будут здесь.

— Нет, не дождусь... Ты передай, что я не в обиде на них. Пусть живут как знают... А тебе мой наказ: помру — не уезжай отсюда. Дом, пока можешь, не продавай. Тут тебе всё свой угол. Там ты никому не нужна. Знай это...

И без того слабый голос старика совсем сорвался. Дышал он тяжело, с хлипом. От усталости закрыл глаза и опустил руку.

— Да что ты, Гришенька, уймись... Никуда я не уеду отсюда. С тобой рядом лягу, — беззвучно плакала Евдокия.

— Дуся, гроб-то я уже сколотил, так что не нужно тебе хлопотать. В сараюшке стоит. Только покрасить другой раз не успел, думал по теплу, а вот как вышло. Гроб-то небось свободный мне будет — совсем, вишь, высох... В Бабе меня хорони, где все наши лежат. Здесь не хочу... место сырое... Дом, слышь, Дуня, не продавай, тут живи... А придет пора, ко мне под бок ляжешь... Они тут сами разберутся. Только накажи им, чтобы всем поровну, чтобы ссор, обид не было...

Старик, совершенно обессиленный разговором, зatih, впал в забытие.

Он не прожил и трех суток. Умер в ночь тихо, как заснул, не позвал старуху. Она еще затемно, пробудившись от недоброго предчувствия, сунулась на печь к его постели и будто обожглась о холодную руку мужа.

Дети приехали утром в день похорон одним автобусом, как сговорились. Они шли по улице, прямо по асфальтированной дороге, у всех на виду. Братья тащили тяжелые сумки, набитые консервами, колбасой, водкой. Анастасия несла яркий овальный венок из бумажных цветов, блестевших от парафина. Соседки, появляясь в калитках, с любопытством глазели на них, некоторые, узнавая, здоровались.

Старший, Василий, в серой дорогой шляпе, в широком плаще, не скрывавшем солидного живота, мужчина уже в годах, но здоров и крепок, казался среди них главным. Он громко рассказывал, как продавал машину и доставал новую. Младший, Борис, лицом похожий на брата, но не в пример тому худ и очкаст, в спортивной куртке и простоволос, выглядел как-то затерто, незначительно. Он слушал брата без особого интереса — все это уже давно знал, но, когда тот вспоминал какую-то новую интерес-

ную подробность этой купли-продажи, смеялся. Анастасию их разговор и смех не брал, она шла невеселая, не оглядываясь по сторонам, опустив голову. На ней плотно сидела хорошо пригнанная дубленка с меховой оторочкой и черная шаль с мелкими красненькими цветочками, с длинными кистями по краям подчеркивала строгость и горе. Венок ей было нести неудобно, она то брала его в руку — несла на весу, то прижимала локтем к бедру. Братьев помочь не просила, у них руки заняты своей ношей.

— Помолчали бы вы, сыночки! — с укором сказала она. — Нехорошо как-то, к дому подходим.

Василий умолк, искоса глянул на сестру, на брата. Последние метры до дома они шли в молчании, и было слышно, как недовольно постукивали по асфальту подковки сапог Анастасии.

У крыльца прислоненной к перилам стояла крышка гроба. Анастасия неумело перекрестилась, братья замешкались. В доме кто-то окликнул Евдокию, она спешно вышла на крыльцо, на миг растерялась и вдруг заголосила:

— Ой, детушки, детушки! Что ж вы так поздно? Горе у нас, горе...

Пока расцеловала всех, на пороге появились женщины и старухи, стали здороваться с прибывшими родственниками. Родня была такая дальняя, что так, сразу говорить ей оказалось не о чем, руки пожмала молча. Евдокия, суетясь между детьми, проводила их в избу. Приехавшие потоптались в прихожей, медля проходить в переднюю, к гробу. Первой, скинув дубленку и не развязав шали, прошла в комнату Анастасия. Заплакала она раньше, еще на крыльце, обнимаясь с матерью, а заведя гроб и в нем мертвого отца, перешла в голос, в причитания.

— Папочка, родной, — опустила она перед изголовьем покойника на колени, коснулась губами его воскового лба. — Какой ты худющий-то, ой, ба-тюшки...

Сзади появились братья, по старшинству подходили к отцу. Не плакали, но глаза их стали тревожными, на лицах не было и следа недавнего смеха.

В углу, под иконами, сидела перед свечой шупленькая старушка монашеского вида, бормотала псалмы над толстой, раскрытой посередине, занесенной книгой. Остренький язычок пламени светился ровно, но свету почти не давал. Свет проникал с улицы в окна и не мог заполнить всю комнату, в углах стоял полумрак. С гудением пронеслась в воздухе крупная муха, все обернулись к ней, она надоеливо закружилась под потолком и вдруг, спикировав, села покойнику прямо на нос. Анастасия с испугом смахнула ее, погладила рукой лицо отца, словно вытирая от нечисти. Сыновья постояли недолго, оглядывая стены родительского жилища, узнавая памятные сучки и трещинки на потолочной матице, давние фотографии в струганых рамках, старый массивный радиоприемник, на нем нелепо-веселую куклу-клоу-

на в дурацком колпаке и с оторванной рукой, в простенке завешанное полотенцем зеркало, под ним телевизор с прикрытым скатеркой экраном — все было знакомо, но казалось им чужим, ненужным, ветхим. В доме стоял спертый воздух от приторного теплого воска и людского дыхания. Василий направился к двери, за ним, чуть помедлив, ссутулясь и опустив голову, вышел Борис. Анастасия, уже не причитая, а только беззвучно плача, промокая подкрашенные глаза уголком носового платка, осталась.

К полудню стали собираться соседи и знакомые. Все больше старики и старухи, ни одного молодого лица. Только в заулке курили, сидя на теплых ошкуренных бревнах, трое, парни — не парни, но молодые, лет под тридцать, мужики. Борис, узнав их, подошел.

— Здорово, Цыган, — не помня имени, назвал по прозвищу одного, высокого патлатого мужика в толстом шерстяном свитере. — Здорово, ребята.

— Привет столице. — Сашка Свистов, по кличке Цыган, снисходительно протянул широкую, в две Борисовых, ладонь, нарочито с силой пожал ему руку. — Что же так поздно? Тетка Дуня всех на нашем краю обегала, пока нас не уломала могилу дядьке Грише вырыть. Земля еще мерзлая, намудохались...

— Где копали-то? — спросил Борис и смутился своего вопроса: уже часа три, как приехали, а не поинтересовались, все ли готово.

— Во, даешь! — тряхнул черными лохмами Сашка и обернулся к приятелям: — Не знает, где батьку родного хоронить будут.

Сашка поднялся, швырнул в огород окурок:

— Пошли, выносить пора. А ты, Леха, гони машину на большак, не толпись под ногами, — сказал он мозглявому, широконосому мужику, видно, шоферу. — Тут теперь сами впятером справимся.

Передняя, где лежал покойник, быстро заполнялась народом. В ней стало темней и воздух как загустел от шепота и вздохов. Сашка бесцеремонно протиснулся к гробу, Борис прошел за ним. Впереди уже стояли мать, сестра и брат.

Домовину с покойником вынесли легко, поставили у подоконья на табуретки, ножки которых вдавились в еще не просушенную в тени, серую песчаную землю. Солнце закрылось пухлым облаком. Знобкой воздушной струей подхватило измочаленный клочок сена, мятый газетный лист, угнало их в заулочек. Тут же на покойнике колыхнулись от ветерка край покрывала и бумажные цветы, положенные поверх него. Анастасия с матерью заботливо поправили их, дочь поежилась от холода.

Женщины недолго поплакали, поголосили, мужчины взяли ношу на плечи. Борис пристроился сзади, у изголовья, по другую сторону Сашка, впереди оказалась спина Василия. Шли медленным шагом, полотенце, перекинутое через шею, почти не давило. Кто-то тронул Бориса за плечо, предложив отдохнуть. Он отрицательно качнул головой. Бежевую могучую спи-

ну впереди сменил серый пиджак, с расползшимся по шву плечом, а Борис шел и шел, не уступая никому своей ноши, до самой окраины поселка. Здесь гроб поставили в кузов машины, закрыли крышкой. Родственники и кое-кто из соседей расселись рядом на еловых, пахнущих сыростью, лапах.

— Поехали, — стоя на подножке, мотнул патлами Цыган.

Машина тронулась, и он на ходу втолкнул в кабину свое длинное, гибкое тело. Кучка старух, оставшихся в поселке, крестилась вслед.

Поминки прошли так же скоро, как и сами похороны. Вспоминали старика, выпивали, одни соседи уходили, другие подходили, садились на скамьи, покрытые чистыми половиками. Постепенно застолье редело. Когда стали сгущаться поздние весенние сумерки и в доме зажгли свет, за широким дубовым столом, на котором с утра стоял гроб с покойником, а до этого мерзли долгую зиму под снегом оставленные с осени яблоки, сидели только Евдокия с детьми. Борис почти не пил, вид у него был усталый, тяжелые мешки набухли под глазами, и, увеличенные очками, сквозь их стекла они казались вздувшимися, как нарывы, которые вот-вот могут прорваться. Василий выпил много, но хмель его не взял, он лишь погрузнел да покраснели белки глаз.

— Давай, мать, собирайся! Возьму тебя в Москву, — сказал он, свободное, по-хозяйски откинувшись на стуле. — Дом загоним — ездить сюда мне некогда, Борьке и подавно, у него диссертация на носу.

Евдокия молчала. «Дом продадим... Как же... Сказать ли ребятам, что отец завещал? — с тяжелым сердцем думала она. — И, правда, куда я поеду? Погостить если, а то не соберусь никак. То дела, то корова... Григорий вот съездил напоследок, повидал, как живут. И мне бы надо... Только как сейчас ехать, огород копать надо, картошку сажать... Нет, не сейчас, уже осенью...»

— Ты, видать, все решил за меня, Вася? — наконец с горькой обидой сказала мать. — Я ведь еще не старая, при силе... Как-нибудь сама проживу. Вас-то что стеснять буду? У вас жены, дети... Куда я, чужая?..

— Ну что ты говоришь, мама? Кому ты чужая? — обняла ее за плечи Анастасия. — Может, Вася поторопился. Трудно тебе в Москве будет, непривычно. Я молодая и то сколько в городе маялась.

— Ничего не поторопился. Привыкнешь, — легонько стукнул по столу ладонью старший, но дрогнула посуда. — Кто здесь за домом смотреть будет? Сейчас за него хоть что-то дадут, а то обещают — за бесенок отдать придется.

— Слушай, Васёк, какое тебе дело, сколько дадут? — возмущенный последними словами брата, недовольно спросил Борис. — Не об этом беспокоиться надо, а думать, где матери лучше будет.

— Чего тут думать? Тебе хорошо здесь было? То-то же ты в Москву перебрался, — в насмешку скри-

вил губы Василий. — Или ты каждый год приезжать сюда будешь, огород копать, дрова готовить? Дров-то вон сколько надо, эва какой домина! — обвел он широким жестом просторную комнату.

— Дров-то немного уйдет, переднюю на зиму закрывать стану или постояльцев пушу. Всё помогут, да и деньги от них не лишними будут. Пенсию-то на отца дадут ли, не знаю, — держа на коленях руки, показала плечами Евдокия.

— Вот-вот, мать, дадут ли? А у меня для тебя всегда кусок хлеба найдется, без хлопот, без квартирантов. Глядишь, мне заодно финансами подможешь: машину я купил, поистратился, а тут дачу с садовым участком у нас в заводском кооперативе предлагают, приличная дачка. В Москве не понравится, на даче жить будешь. Там тебе и яблони, и грядки, и кур разведешь, коль захочешь. Завтра схожу объявление о продаже на чайную повешу.

— Да что ты заладил: «продать, продать»! — вспылел Борис, краснея за брата, как за себя самого. — Торгаш хренов!

— Кто, я торгаш? — со злостью и удивлением воскликнул старший. — Я слесарь-сборщик высшей квалификации, пролетарий, рабочий класс! Понял? Я каждый рубль вот этими руками закручиваю. Завидуешь, что жить умею, так учись. Или тем деньгам, что дом стбит? Так бери мать к себе, я не против. Тебя же Верка сожрет в одной комнате, — ухмыльнулся он. — Когда-то еще академиком станешь, отдельную квартиру получишь...

— Дурак ты, Вася, — сквозь зубы процедил Борис. — Лысину нажил, а ума не набрался.

— Где нам, мы институтов не кончали! Мы с «семилеткой» по триста «рэ» в месяц заколачиваем и еще премии, награды всякие двумя руками огребаем, — повертел Василий пятерней в воздухе. — А если тебе денег не хватает, на родительские глаз лежит — пожалуйста. Только я с себя тогда все заботы, всю ответственность снимаю. Уволь, братишка.

— Что ты всё: «деньги, деньги»? Я тебе повтворю: нужно думать, как матери лучше.

— Ну, думай, думай. Ты у нас самый умный... кандидат беспортошный, — съязвил Василий.

У Бориса забила в виске вена, испарина осыпала крутой лоб, туманные стекла очков не скрывали острого злого взгляда, но он сдержался, понимая, что так ничего, кроме пустой свары, не получится. Резанул глазами брата, испытующе уставился на мать, на сестру, как бы ища у них поддержки, но сквозь туман четко не видя их лиц. Те сидели, опустив глаза, словно стыдясь всего этого разговора.

— Нам думать, но не решать. Пусть мать сама решает, — наконец проговорил он. — Скажи, мама. Сама скажи, — глотнув сухим горлом, кивнул Борис матери.

Она смотрела на своих детей, вспоминая, какими они были малыми, исхудалыми за военное время, как

после войны уже, в голодном сорок шестом, ходила ранней весной на колхозное поле, собирала промерзшую гнилую картошку, добывала из нее серую, как мокрая печная зола, крахмальную массу и пекла лепешки. От этих «чибриков» у младших сначала дуло животы, и ночами ребята кричали от долгой, нестерпимой боли. Плакала над ними и сама Евдокия.

Она вспоминала, как подрастали дети, как один за другим откалывались от семьи, от отчего дома. Старший рано ушел в самостоятельную жизнь. После «семилетки» перебрался из родного села в райцентр, кончил здесь ФЗУ, устроился на завод. Жил, снимая комнату, на выходной приезжал домой за картошкой, за мясом. Случалось, помогал родителям деньгами. Когда стали подрастать младшие, Василий как-то обмолвился, мол, нечего теперь делать в деревне, голодная пора минула, надо в поселок перебираться, там и ребятам будет лучше — школа-десятилетка под боком. Григорий сперва и слушать о переезде не захотел, но когда младший Борис стал учиться в поселковом интернате, приезжая домой лишь на каникулы, а тут приспела пора перебраться туда и Насте, Евдокия стала настойчиво требовать переезда, чуть что — бранить его за «тяжелый зад», за нежелание собственным детям счастья, отец решился. Упросили правление колхоза отпустить, за бесценок, считай, отдали крепкий родительский дом-пятистенник, купили в поселке избушку-развалюху и рядом с ней за два лета поставили новый дом. Дался он тяжело, и, если бы не помощь старшего сына, вряд ли осилили бы они стройку. Василий хоть и молодой еще был, но все дело на нем держалось: он и лес доставал, и с плотниками договаривался.

«Какой у нас сын-то хваткий», — с радостью говорила порой Евдокия.

«Хваткий-то хваткий, да пронырлив не в меру, — не поддерживал ее муж. — Законы ему не писаны...»

Однако не одергивал сына, принимал все, что доставал тот для стройки, что приносил в дом. После армии Василий не вернулся к родителям, устроился на работу в Москве, женился. Как Борис подрос, его переманил к себе. Тот сначала жил у старшего брата, потом в институт поступил, перебрался в общежитие и, как заметила мать, стал отдаляться от Василия. Анастасия после школы уехала на северную стройку, там обзавелась семьей.

И вот теперь дети сидели за поминальным столом, сытые, добротнo одетые, ухоженные, и спорили, кому брать старую мать, не стесняя себя в словах. Тягостным для Евдокии был весь их разговор, не слышать бы его совсем, но куда денешься, когда прямо за душу тебя тянут. Что ответить им? Расскажешь ли, как тяжело ей было уходить в чужой дом к нелюбимому, как долго привыкала на новом месте после столько лет деревенской жизни — сама себе не раз каялась, что настояла на переезде. И вот те-

перь на старости лет опять менять весь уклад, ехать куда-то... Как все расскажешь? Поймут ли дети?

— Ох, ребята, ребята... Не знаю, как и сказать... — вздохнула, подавив в горле ком, Евдокия — Мы с отцом так порешили. Пока силы-мочи есть, никуда я отсюда не поеду. Ни вас стеснять, ни себя мучить не стану. Как-нибудь... А если деньги тебе, Вася, нужны, так я подсоблю, чем смогу. На книжке есть немного, с коровы выручили. На похороны я маленько сняла, поистратилась.

Борис и сестра с укоризной глянули на старшего брата. Тот поймал их взгляды, понял.

— Нет, мамаша, так я не возьму. Да и что мне эти крохи? Ты все же подумай, как тут управишься, чтобы нас потом не корить.

Посидели в молчании. Вдруг в сенях затопали, хлопнула дверь, и на пороге, почти доставая головой дверной перевод, появился Сашка-Цыган. Был он уже изрядно пьян, покачивался высокой фигурой, как маятник.

— Проходи, Сашок. Помяни еще разок дядьку Гришу, — поднялась навстречу ему Евдокия.

— Не-е-е, тетя Дунь, не-е-е, — замотал черными патлами Сашка и продолжал заплетающимся языком: — Я с ними не сяду, я лучше под забором выпью... Ты выйди, тетя... тетя Дунь... сюда на минутку. Что скажу....

Едва мать скрылась в прихожей и в сенях на лестнице раздался беспорядочный топот ног пьяного Сашки, Борис сорвал со стола полную стопку, плеснул водку в рот, сжал веки, аж слезы выступили из глаз и прочертили по щекам, под стеклами очков, две узкие бороздки.

— Ох, Васька, какие же мы подонки! — грохнул он пустой стопкой по столу. — Самые последние... Ниже некуда! На батиных поминках о каких-то деньгах спорим. Стыдно, стыдно... Матери, людей стыдно. — Голос его дрожал, срывался, лицо, глаза вмиг покраснели, по щекам катились настоящие слезы. Он сдвинул рукой посуду, уронил голову на локоть, так что хрустнули раздавленной скорлупкой очки, и рыдал, не скрываясь.

— Ну что ты, Борюшка, успокойся, — погладила его по волосам Анастасия.

— Уйди, Настька! Прочь уйдите! — дернул Борис головой. — Сволочи же мы, ох, сволочи!..

— Оставь его, — сказал сестре Василий. — Перебрал, пусть вымочится. Это не он плачет, водка в нем плачет. Гроб опускали — ни слезинки не было, а тут, на тебе — разрыдался! Слабак, пацан... Пить не можешь — не пей. Что тут трагедию корчить? Я вот не плачу. Батю, конечно, жалко. Но что реветь попусту, слезами его не воротишь... и возраст пришел... Все там будем...

— Брат, опомнись! Что ты говоришь? — закричала Анастасия, ее сухое лицо с тонко подкрашенными яркой помадой губами и подведенными густой ту-

шью ресницами обезобразилось гримасой отчаяния и стало старчески блеклым. — Как в такой день можно об этом! Для приличия хоть бы слезу утер...

— Какое приличие? Я что вам... маленький? Надо реально смотреть на вещи. Отца не воротишь, а не хотите, чтобы я мать взял, возился с нею, давайте решим вместе, полюбовно. Деньги ей, что ли, если пенсию не дадут, высылать станем... Много ли ей надо: огород свой, картошка своя, — расхаживая по комнате, загибал он пальцы, потом на минуту смолк и снова продолжал: — А о завтрашнем дне подумать надо. Я батю сколько раз говорил: «Кончай с коровой возиться, продавай...» Нет, так же вот упирался. Допрямился. Небось с коровой, с покосом и надорвался. Глядите, как бы и с матерью так же не вышло. В ее годы такой огород тянуть — это вам не книжки читать. По себе знаю, всю жизнь, с пацанов, горбом вкалываю, а вы... — ему вдруг пришла догадка, что это он, а никто другой, дал младшим образование: он работал, а они учились.

Но Василий тут же осекся, видно, не дошел еще до того, чтобы открыто упрекать этим брата и сестру, осекся и махнул рукой:

— А-а-а, вам этого один черт не понять: один программки эвээмам пишет, другая статейки строит. Привыкли к дармовому хлебу, понимать много стали, да не с того боку. Мать сама огород не бросит. Ее сейчас оторвать от него или хотя бы отрезать соток пять — значит не дать надорваться, пожить дать. Надо кончать с огородом...

В это время в комнату вернулась Евдокия. Сын сразу смолк. Она расслышала его последние слова, но, видно, не поняла, о чем говорил Василий.

— Вот дело ты толкуешь, сынок, — начала мать. — Я все хочу попросить вас, да не решусь. С огородом помогли бы... Копать пора. Долго ль вам в три лопаты. На день работы. Может, задержитесь на денек-то? Я сама уж потом как-нибудь управлюсь, посажу, посею. Сашка-Цыган обещал вот сейчас перепахать на тракторе, да он спяну всю загороду мне тут разверотит.

— Вот видишь? — Василии многозначительно поднял палец, посмотрел на сестру.

Мать не поняла: к чему это он. Поглядела на детей.

Дочь, сцепив у груди руки, прохаживалась вдоль стола, младший сын сидел, повернувшись спиной к остальным, и смотрел в окно.

— Иль что не так, Вася? — недоуменно спросила Евдокия. — Ехать вам срочно надо? Ну, так я не держу, не неволю. Поезжайте. Сама как-нибудь, люди добрые помогут.

Управиться матери с огородом они все же помогли. Пожгли сухую прошлогоднюю ботву и мусор, переносили со двора навоз — Григорий после приезда из Москвы так и не заглянул в хлев ни разу, как заперла Евдокия дверь на кол, так никто его больше не трогал, — разбросали по пашне. И все молча,

почти без слов, не примиряясь после недавней ссоры. Мать вынесла из сарая штыковые лопаты, ставшие за зиму бурыми от ржавчины. Борис подхватил одну, взялся было копать, но старший брат только посмеялся над ним:

— Итээр-балбесы — спутники прогресса. С такими «спутниками» мы далеко улетим! Лошадь надо искать или трактор, кандидат фигов. Слушай голос пролетариата. Кичитесь своими дипломами, мол, сами все, сами с усами, а усы-то на деле и коротки. У нас на заводе вот такие же интеллигенты сидят штук по десять в каждом кабинете, в цех на собрание придут, толкуют об инженерной поддержке рабочих, а рабочий всё ключом, лопатой вкалывает, — язвительно говорил он, не прощая брату вчерашнего. — Мамаша, у кого тут лошадь взять можно?

— К Ивану Гулюгину сходить... Да уж поздно, небось на работу уехал.

— К Ваньке? Хо, мой старый кореш, считай, друг детства! Где он сейчас?

— В потребсоюзе, возчиком.

— Здесь же совсем рядом. Сейчас я договорюсь. А ты копай, копай, антилленция, — с ехидцей кивнул он брату и, натянув на лоб старую с надорванным козырьком отцовскую кепку, отправился искать своего приятеля-лошадника.

Спусти час на улице загромыкала и вкатилась в заулук телега. На ней громоздился плуг и сидели, свесив ноги, Василий с Иваном Гулюгиным, пьяненьким жилистым мужичонкой в затертом ватнике. Борис с Анастасией тем временем не сидели без дела, не ждали брата, перекопали землю под вишнями.

Приехавшие сняли плуг, выпрягли откормленного рыжего битюга по кличке Морей, пристегнули к хомуту постромки плуга.

— Мать, как пахать будем? — крикнул Василий. — В свал или в развал?

Евдокия подбежала к лошади и рукой показала, загребая ладонью внутрь:

— В свал, в свал пашите. Не то канава посреди огорода выйдет, вода здесь целую реку промоет.

Сын намерил шагами середину участка, вдавил каблуком землю, делая отметину, махнул рукой вдоль усадьбы:

— Режь, Иван, по прямой!

Потом вернулся к лошади, взял ременные вожжи, тронул, звучно чмокнув:

— Но, Морей, пошел!

Начали пахать. Иван шел за плугом, Василий вел лошадь, Борис, Анастасия и мать укладывали в борозды навоз, чтобы его запахало поглубже. Сначала дело не ладилось. Иван спотыкался о комья навоза, матерился, плуг выскакивал из его рук, борозда юлила.

— Дай-ка я попробую. Поди, не разучился, — остановил лошадь Василий.

Он взял ручки плуга, легко тряхнул его пудовой тяжестью, уперся острым концом лемеха в борозду, и

ровный пласт земли отвалился на сторону, рыхлой волной побежал под ногами. Могучий конь, рожденный и откормленный для тяжелой работы, играючи, почти не напрягаясь, тянул гужи, Василий, приохлаждаясь к нему, уверенно шел следом, и казалось, что эти два сильных существа не одну из самых тяжелых крестьянских работ правят, а так, разминаются для интереса. Иван, семенящий сбоку с вожжами в руках и сдерживающий ход лошади, казался здесь лишним, совсем ненужным. Евдокия, порой отрываясь от работы, оставляла вилы и с любовью смотрела, как ловко все выходит у сына. С завистью поглядывал на брата и Борис, ему хотелось попросить стать за плуг, попробовать — пахать самому, но он, то ли боясь сбить этот хороший темп, то ли не желая разговаривать с братом, не осмелился. Полоса свежей пашни быстро росла, на глазах ширился круг, по которому ходили лошадь и пахарь, и через час последний отвал земли лег от межи под горевшим блеском лемехом. Василий бросил ручки, плуг упал на сторону, конь остановился сухой и бодрый, лишь слегка ходили от дыхания его крутые, налитые силой бока. С пахаря пот лил градом, темные мокрые полосы пролегли по спине на отцовской рубаше, Василий тяжело дышал.

— Фу, работенка! Сдохнуть можно... А как, есть еще крестьянская жилка? Каков из меня пахарь? — довольный, спросил он давнего друга.

— Силищи-то в тебе всегда хватало, — утирал кепкой со лба пот Иван Гулюгин, — А на московских харчах эва какой живот нажрал. Чего ж тут не быть силе? Здоров, что мой Морей. Тебя вместо мерина и запрячь надо было...

Василий захохотал.

На следующий день старший сын собрался уезжать.

— А ты что, остаешься? — спросил он брата. — Ну, гляди, гляди... За что вам только деньги платят?

Сестра со старшим простилась холодно: подала ладонь, когда тот раскрыл было руки для объятия, и не пожалла. Борис вообще ушел в это время из дома, ходил по пашне, разбивал лопатой комья земли, оказавшиеся не по зубам бороне. До автобуса Василия провожала мать.

— И чего вы не поделили? — всхлипнула она на прощанье. — Все мне родные, одной крови.

— Кровь-то одна, да мозги, руки разные. Ну, прощай, мать! — сказал он, входя в автобус, а когда машина тронулась, выкрикнул из окошка: — Ты все ж подумай!..

Младшие пробыли у матери еще два дня. Заказали металлическую оградку и крест, отвезли их в Бабье, поставили на отцовской могиле. Докончили посадку картофеля, сделали гряды под овощи.

— Ну, теперь мне и заботы мало, — радовалась Евдокия. — Вот бы отцу поглядеть... Мы-то летось всю весну провозились с огородом. Батяка плох уже был, не тот, что раньше, копнет два раза и сядет —

сил нет, — утирала она потрескавшимися пальцами слезы. — Вы приезжайте, ребята, внуков на лето присылайте, не забывайте мать. И с Василием помиритесь. Чего вам делить? Родные ведь...

С тех пор Евдокия живет одна. Пенсию, хоть и невеликую, ей назначили. Половину огорода она на другой же год под траву запустила. Павел Тоболкин берет здесь за лето по два-три укоса сена, а Евдокия за это получает от соседа по кринке молока, когда задумает пироги печь или чего иного повкуснее состряпать. Большую часть дома она сдает квартирантам — девчонкам из дальних деревень, что работают в поселке на стекольном заводе. От них выпадает старухе помощь и по хозяйству: девки и в магазин сбегают, и полы вымоют, и картошку окучат, выкопают, в подполье перетаскают; еще им дрова от завода привозят.

Не забывают о матери и дети. Младшие каждый месяц присылают почтовые переводы, к праздникам от них приходят посылки, бандероли. Случается, принесут посылку с гречкой, чаем индийским, конфетами и от старшего сына. Евдокии всего хватает, у нее даже завелись лишние деньги, нет-нет да и отнесет она что-то в сберкассу, на «черный день», на похороны себе откладывает. Каждый раз в письмах детям она просит не высылать ей больше денег, но почтальон продолжает носить переводы.

После смерти отца первые два лета приезжали к ней в отпуск со своими семьями Борис и Анастасия. Мать не могла нарадоваться, не знала, чем угодить зятю, снохе, внукам.

Сама она в одну зиму ездила к сыновьям в Москву. Недельку погостила у старшего, четыре ночи переночевала у младшего, потом еще недельку у старшего. Ей понравилась хозяйственность Василия, его просторная трехкомнатная квартира, достаток семьи во всем: и в добротной одежде, и в красивой обстановке, и в хорошей пище. Младший жил поскромнее, но тоже не худо, мог бы и получше, но вместо дел по дому, что он, что жена его Вероника, уткнутся в книжки или телевизор — не оторвешь, по театрам, выставкам чуть ли не через день таскаются. Василий, тот дома руки сложа не сидит, всегда найдет себе какое-нибудь дело, а если задержится на работе, так, значит, сверхурочным заданием занят, к зарплате прирабатывает. Летом, рассказывал сын, хлопот и того больше: дачу обиходить, участок вскопать, засадить, засеять, вырастить все, убрать и часть урожая — цветы, раннюю клубнику, первые овощи — отвезти на рынок. Без дела сидеть ни зимой, ни летом не приходится. На все время нужно, так что и отдохнуть некогда. Зато дом у старшего — чаша полная.

Между собой сыновья живут не в ладах, в гости друг к другу не ходят. Василий отвез мать к Борису на своей машине, но и минуты не задержался у брата, поздоровался, тут же повернулся и уехал. Хотела Евдокия детей помирить, и с одним, и с другим заговаривала об этом, но они слышать не хотят друг о дру-

ге. Даже, когда провожали мать к поезду, на вокзале особняком, словно чужие, держались.

Хорошо ей было у сыновей, ни в чем не отказывали. Василий на автомобиле по Москве катал, город, магазины показывал. Борис с Вероникой водили ее в музей, где икон было великое множество, и столько о каждой ей невестка рассказывала, что в голове все перепуталось; дивилась она: откуда Вероника, такая молодая, все знает, в Бога не верует, а всех мучеников, все святые праздники наизусть знает, на что та рассмеялась:

— Я же искусствовед, мама! А древнерусская живопись, иконография — моя специальность.

Но все же скоро Евдокии надоело в городе, заскучала она о доме своем, о могилке Григория. Все уйдут на работу, в школу, останется она одна в пустой квартире, ходит из комнаты в комнату, как неприкаянная. Дело бы ей какое, не так маятно было бы, но какое здесь дело, живут на готовеньком. В квартире бы прибраться, да старшая сноха ничего не доверяла; прибежит с работы бегом, бегом все сама переделает, и все-то у нее в руках горит, любое дело спорится; хозяйственная женщина, под стать Василию; хорошая пара, крепкая семья.

Возвратившись из Москвы от сыновей, Евдокия не могла усидеть дома, даже не отдохнула с дороги, только чаю попила, собралась и поехала автобусом в Бабе.

Каждую неделю она навещает могилу мужа. На холмике, любовно ухоженном ею, с весны до осени растут цветы. Нет-нет принесет она с собой букетик незабудок, васильков, колокольчиков, собранных по дороге, положит на могилку. На древнем кладбище, которое будто бы лежит тут с давних времен, когда рыскали по русской земле татарские орды и здесь, между Москвой и Великим Новгородом, у селения Заречье, отряд их однажды разогнали вилами, рогатинами, коромыслами непокорные славянские бабы, чьи мужья и старшие сыновья в ту пору находились в Торжке в княжеской рати, на этом погосте, раскинувшемся по склонам кургана — места почти забытого людского побоища — растут старые-старые сосны; посажены они дедами и бабками Григория на могилах своих родных. Рядом с вековыми деревьями красуется молодая кудрявая березка. Под ней скамейка на двух столбиках и дощатый столик вкопаны.

Евдокия посидит час-другой в оградке, покрошит птичкам хлебца, крупы насыплет, вспомнит свою жизнь, подумает о прошлом, о муже, о детях. Бывает, мелькнет в памяти лицо милого Веньки, юное, курносое, и она, пугаясь этих, не к месту пришедших воспоминаний, тут же отмахнется от них, подумает о чем-либо другом.

Счастлива ли прожила она свою долгую жизнь? Кто знает... Спросить Евдокию — и не ответит она, пожалуй. Все было в ее жизни — и хорошее, и плохое. Жизнь как жизнь. Не хуже, чем у других.

МЕЖДУ ТРЕХ ОГНЕЙ

Короткая повесть о долгой любви

1

Из командировки Крайнов вернулся в среду. Жену он дома не застал. На кухонном столе лежала записка, придавленная хрустальной узкогорлой вазой, в которой торчала корявая ветка багульника, выпустившего хилые розовые лепестки. «Андрей! Я ложусь в больницу. Позвони, пожалуйста, маме. Она все знает. Галя», — пробежал он глазами записку и обрадовался, что какое-то время будет один, сам себе хозяин. Позвонив родителям, он узнал, что за время его отсутствия Галине стало плохо и ее положили на сохранение.

— Врачи опасались выкидыша, но теперь кризис прошел. Гале разрешили ходить, — говорила молодым голосом теща, но Крайнов знал, что она далеко уже не свежа, и, как наяву, представлял ее когда-то миловидное, а теперь пухлое, пористое, лицо, которое не способна омолодить ни польская, ни французская, ни тем более отечественная косметика; видел складчатую, неповоротливую шею, могучую спину с жировым покатым горбом.

Иногда, чтобы досадить жене, часами просиживавшей за туалетным столиком, он шутил, тайком кивая на ее мать:

— Ваше будущее, мадам, этак году в... двухтысячном. Природу ведь не обманешь...

Но уважал тещу за доброту по отношению к нему, та, не в пример дочери, почти всегда была снисходительна к его поведению, даже когда Галина жаловалась ей на поздние возвращения мужа, не поощряла этих жалоб, принимая сторону зятя. Она открыто гордилась им, показывая подругам у себя в аптеке газеты с его публикациями:

— Это мой зятек написал.

Крайнов отвечал ей добром на добро: если она просила о чем-то — разбивался в лепешку, но просьбу выполнял. Их дружеские отношения выводили Галину из себя:

— Как мать попросит, ты рад стараться, а мне... пять раз напоминать надо, — упрекала она.

— Ты читала как-то «Колыбель для кошки» Курта Воннегута. Усвоила, что такое «карасс» и «дюпрасс»? — усмехаясь, спрашивал Крайнов. — Так вот: у нас с твоей мамашей дюпрасс, и будь она раза в два помоложе, я не задумывался бы, кого в жены взять, — не то в шутку, не то всерьез отвечал он...

— Ей что-нибудь нужно сейчас? — поинтересовался у тещи Крайнов.

— Да, Галя просила принести пару коробок конфет для врача. Может, ты у себя в буфете достанешь?

— Опять? — недовольно спросил он. — Ну сколько же можно! Она ползарплаты на взятки своим лекарям тратит.

— Какие же это взятки, Андрюша? — удивилась на другом конце провода теща. — Надо, дело серьезное. Не долечат — хуже будет. Не скупись...

Он не скупился и не жадничал, но каждый раз возмущался, узнавая об очередном подношении докторам.

— Эскулапы хреновы, — ругал он их и жену и вслух и про себя. — Лечить как следует не могут, а брать берут... Ну, вылечивали бы до конца, тогда и дать можно, не жалко, а так нечего их баловать. Этими подачками мы только людей развращаем.

— Я не могу оставаться неблагодарной, — отвечала на его доводы жена.

Сам он тоже не оставался «неблагодарным»: если какое-то издание публиковало его рассказ или очерк, он угощал сотрудников отдела, по которому шел материал, коньяком или шампанским, случалось и в ресторан приглашал. Если же жена указывала ему на это, он распалялся:

— Здесь совсем другое дело! Ты ни черта не смыслишь в нашей «кухне». Мне же с людьми поговорить приятно, познакомиться поближе...

— Ну, так достанешь? — нетерпеливо переспросила теща.

— Ладно, попробую, — с неохотой пообещал он.

— И еще зелени просила, винограду... Ты сходил бы на рынок...

— Мамаша, может, овощей, фруктов вы сами купите? У вас же Центральный рынок под боком, а здесь, на Дорогомиловском, ни черта не бывает зимой. Сделаете? А я завтра залечу к вам, все заберу и в больницу...

Уговаривать тещу долго не пришлось. Она согласилась, расспросила, удачно ли съездилось ему в командировку, навестил ли родителей, и они распрощались.

Уладив семейные дела, Крайнов принял горячую ванну, разморился, устал, лежа в плотной пахучей пене, но прохладный душ, а за ним бутылка свежего, попутно прихваченного в магазине пива сняли усталость, даже взбодрили. Отдохнув после ванной, Крайнов подумал, что целый вечер нечего делать, и позвонил на работу шефу, пригласил того в Дом журналиста попить пивка, пожевать рыбки. Откровенно говоря, ему не очень хотелось этой встречи. Знал, что Никитич начнет нудные разговоры об одном и том же: будет плакаться, мол, его «подсигивают», не дают дотянуть до пенсии, из секретариата вернули кучу материалов, и надо все переделывать. Но знал он о своем шефе и другое: хорошо угостить, всучить небольшой презент — и Никитич будет податливым,

даст отгулять и день, и два, и четыре. Тем более сейчас, сразу после командировки, когда в редакции еще не знают, что он вернулся.

К шести вечера в тугую накрахмаленную в прачечной рубашке, причесанный волосок к волоску, Крайнов завернул в газету пару связок соленой провяленной воблы, кусок осетрового домашнего балыка, банку зернистой икры, сунул все это в портфель и отправился в Домжур, как называет это заведение вся пишущая и непишущая, но скитающаяся по знакомым в московских редакциях братия.

Ехать в час «пик» в переполненном троллейбусе или автобусе не хотелось. У стоянки такси он проглотил и сразу же сел на «частника», в черную «Волгу». Маршрут этот Крайнов хорошо знал. Поэтому он даже не спросил водителя, сколько встанет дорога, втиснулся в заднюю дверцу, вполборота развалился на ковровом сиденье. Машина лихо тронулась с места, вывернула поближе к центральной части проспекта и на хорошей скорости устремилась к центру.

Крайнов любил ночную езду, ночной город, любил, когда зажгутся голубые фонари светильников, улицы примут контрастные очертания, потоки машин, как живые огни, тянутся вдоль домов, расщепляются и соединяются вновь, бегут световые табло, вспыхивают и гаснут пестрые неоновые рекламы, и от всего этого кажется, что и сам город — живой, он дышит, и его огромная мощь ощутима как никогда зрительно, объемно. Мелькнула за окном серая полоса Москвы-реки, проплыло белое, похожее на гигантский теплоход, вставший в заснеженный гранитный причал, новое здание российского правительства, неслышно прошелестела мощными лопастями-крыльями громадина СЭВ, на плоской приземистой крыше ресторана «Арбат» повернулся сине-зеленым боком с желтыми прожилками авиалиний и точками воздушных портов светящийся глобус Аэрофлота, обещающий скорость и комфорт путешествия, медленнее проплыли угольные небоскребы Калининского проспекта. Впереди красными звездами просматривался кремлевский ансамбль.

— Вот здесь, у «Художественного», тормозните, — попросил Крайнов, сунул в мягкую ладонь водителя бумажную купюру и подземным переходом вышел почти к самому Домжуру.

Крутой узкой лесенкой, с которой по пьянке пара пустяков загнать вниз, он спустился в подвал, наклоня голову от боязни расшибить ее о низкий потолок, прошел коридором с двумя поворотами в пивной бар. Народу здесь, как всегда в эти вечерние часы, когда позади горячка газетного дня, прочитаны и сданы основные полосы, в редакциях остались только дежурные, было уже полно. К круглым высоким столикам, выстроившимся по стене, не пробиться, вдоль витрины тянулась плотная очередь.

Крайнов окинул ее взглядом, нашел одного знакомого, протиснулся сквозь животы и спины к нему.

— Старик, дюжину возьмешь?

— Не даст, я на своих десяток беру, — замялся было тот.

— Ладно, ладно, — попытался Крайнов вложить в его руку деньги, — воблешкой угощу, есть пара «чалок».

— Ну, вставай впереди, — шепнул знакомый, и Крайнов боком вжался в очередь.

Они потрепались о пустяках, перекинулись парочкой свежих безобидных анекдотов, и очередь подошла. Крайнов успел за это время присмотреть еще одного знакомого, дал знак тому, чтобы занял для него место за столиком, через головы передал свой портфель.

Буфетчица не давала ему дюжину пива сразу.

— В зале, кружки возвращайте, — кричала она.

Но зал — десять шагов так, четыре этак — не торопился. Пришлось сунуть барменше икряную, оловянного цвета, воблу и тем самым без особого труда уговорить. В два приема, чуть не заливая спины посетителей, протискиваясь сквозь них с полными от пены кружками к столику, Крайнов перетаскал все двенадцать пива. Угостил знакомых, пустивших в очередь и занявших место, рыбой — по шутке на человека и, стараясь не глядеть в страждущие глаза других, стал раздирать воблу, насыщаться пивом.

На третьей кружке в зале появился Никитич. Крайнов махнул шефу рукой, тот едва пролез сквозь тела, задевая всех массивным животом.

— Ну как съездилось? — еще не отдышавшись, спросил он.

— Нормально. Все, что намечено — выполнено, в блокноте, — небрежно протянул Крайнов. — И кое-что для себя привез.

— Сюжет для небольшого рассказа? — усмехнулся Никитич, зная, что его сотрудник кроме газетных материалов пишет еще и прозу, и в скором будущем у него выходит первая книжка. — Ситуация с вариациями?

— Да, ситуёвина... Скорее драма... а может, комедия, — скривив рот, погрузился Крайнов.

— Ну, ну, расскажи, — заинтересовался шеф.

— Ты же знаешь — выговоришься, потом не напишешь. Пока — железное вето. Вот, кинь в торбу, а то забудем. — Крайнов открыл свой портфель, достал сверток.

— Что тут? Домашний гостинец? — в глазах шефа засветилась остренькая радость.

— Да, небольшой презент. Старики положили в дорогу.

Никитич, взяв сверток, повертел его около носа, разнюхивая.

— Не учуешь, дома попробуешь, — усмехнулся Крайнов.

— А все же?.. — не терпелось шефу.

— Ну что можно привезти с Волги? Балычок, икорка...

— Севрюжка, белужка... — блестели заплывшие жиром глазки Никитича, — а водочка у нас завсегда имеется. — Он сунул сверток себе в портфель, висевший на крючке под столом, воровато оглянувшись по сторонам, достал оттуда бутылку «Русской» и ловко пихнул ее во внутренний карман широкого пиджака. — Освободим тару и... — подмигнул он Крайнову, — пока с морозцу, холодненькая...

Никитич пригубил кружку и в один присест одолел ее содержимое. Неумело отколупнул вобле голову, широким толстым ногтем стал сдирать чешую.

— Так только селедку чистят, — остановил его Крайнов. — Вот гляди, как у нас на Волге с этим расправляются, как волгари рыбу едят.

Он взял вяленую рыбину за спину и брюхо, одним поворотом кулаков выломал ей брюшную часть, с оставшейся спинки чешуя легко сошла сама, на хребте осталось желтое янтарное мясо в палец толщиной.

— Э-э, волгарь, ловко-то ловко, да больно щедро, — запротестовал Никитич. — Так половина, гляди, в мусор уйдет. Нет, нет, мы по-своему, по-московски: каждую косточку тарашке обсосем и пузырек зажарим.

— Это не тарань — вобла, — авторитетно поправил шефа Крайнов. — Тарашкой у нас густеру зовут. Это на Дону, в Приазовье нет разницы, там вся вяленая рыба — тарань.

— Тарань, вобла — какое нам дело, как ее обызвать? Главное, рыбка, с мясом, с пузырьками. Вот мы ее сейчас под «пузырек» и уберем, — снова заговорщицки подмигнул он Крайнову, за горлышко вытянул из кармана бутылку, сильным широким пальцем сорвал с нее пробку и, еще раз боязливо обернувшись, разлил водку в две порожние кружки; пустую бутылку он тем же ловким движением отправил обратно в портфель, долил кружку пивом до полна.

— Для маскировки, — сказал он и сощурил глазки так, что не стало видно зрачков. — И ты, Андрюша, плесни, чтобы желтенькой водочка, как пиво, стала, чтобы разговоров лишних не было. Накинь, накинь маскхалатик, — потянулся он кружкой с пивом к Крайнову.

— Нет, Никитич, — заслонил тот ладонью свою водку. — Не надо ершить. Я предпочитаю чистую, как божья слеза.

— Гляди, подведешь меня под монастырь... — засуетился шеф. — Ну, ладно, давай быстренько. Фьють!..

Он выпил с половину своего «ерша», глотнул еще пива и принялся за рыбу.

— Как твои старики поживают? — расспрашивал Никитич, раздирая крепкими зубами хребет воблы. — Не болеют?

Крайнов, потягивая пиво, отрицательно мотнул головой.

— Сколько им?

— Под шестьдесят.

— Мне вот тоже под шестьдесят. Не знаю, дотяну ли до пенсии. Одышка берет... Там, у вас, конечно, чего болеть? Природа кругом, Волга-матушка... Вот уйду на пенсию, тоже на природу подамся. Ни дня в Москве не останусь! На даче поселюсь, в грядках копаться буду... — мечтательно сказал Никитич.

«С таким-то животом — на грядках», — ехидно подумал и даже усмехнулся Крайнов.

Шеф заметил его смешок и тоже с ехидной улыбкой спросил:

— Чего ухмыляешься? У журналиста только три пути: в редакторы, в писатели, в пенсионеры... Ты, верно, спишь и видишь себя на Парнасе, а я выбрал последнее. Лишь бы дожить...

Глотнули из кружек с водкой еще по разу, и Крайнов почувствовал, что хмелеет. Болтовня шефа начинала надоедать, захотелось остаться одному и напиться в доску, в стельку, в бабушку, в дедушку — в любую семиэтажную душу-мать. Он краем уха слушал шефа, машинально кивал, поддакивал, а в голове были совсем другие мысли, вспоминалась эта злосчастная командировка и все, что произошло в ней.

2

Он сам напросился ехать, хотя письмо шло по другому отделу. Было оно из родных мест, писали о браконьерстве, незаконной торговле рыбой, обвиняли в беспорядках местный рыбнадзор и районное начальство. Анонимный автор называл фамилии виновных, ярко и подробно описывал факты, и редакции надо было принимать меры. Узнав об этом письме, Крайнов обрадовался не столько возможности покопаться в интересном материале и сделать острый очерк, сколько случаю побывать дома у стариков, навестить Ирину, с которой познакомился летом, находясь на родине в отпуске. Отпуск он всегда проводил у себя на Волге, стараясь приурочить его к концу апреля или августу, когда начиналась путина и рыба шла косяками. Брал отцовскую «казанку» под мощным мотором и гулял на ней в окрестностях села вверх и вниз по реке. Злостно не браконьерил, «самоловами» никогда не пользовался, и не потому вовсе, что боялся — за лов такой снастью можно было легко схлопотать лет пять, — просто не принято было в их селе губить попусту рыбу; хотя теперь кое-кто, пренебрегая этим заветом волгарей-дедов, обходя законы, ставил «нарезную» снасть и всегда был с уловом. Таких «рыбарей» Крайнов ненавидел и если замечал поставленный «самолов», путал его веслом, затаскивал в лодку и уничтожал. Сам же ставил «плавные» сети и при случае, особенно в охотни-

чем азарте, не упускал возможность взять крупную добычу, потемну подвести ее почти к самым окнам родительской мазанки, вдвоем с батей затащить здорового, как свинья, осетра или белугу в сарай, разделывать, быстро приготовить тузлук для икры, запастись балыком. Этим делом занимался здесь не он один: все помаленьку баловались, поэтому особого риска не было. К тому же Крайнова считали в селе за своего, с пацанов знали и закрывали глаза на подобные шалости. Не беспокоил даже рыбнадзор — как-то познакомился с инспекторами, отметил их в центральной прессе и стал в доску своим человеком. Мог бы и посветлу ходить по тоням, посветлу привозить добычу, но не хотел лишних разговоров. Первые после женитьбы годы он приезжал к родителям вдвоем с Галиной, но той скоро приелась вся эта рыбацкая романтика, надоели неудобства сельского быта, зной, духота, от которых не спасала ни близкая волжская вода, ни живописные ивовые и камышовые заросли по берегам, заели комары и мошка, безжалостные ко всему живому и жарким днем, и теплой ночью. Горожанка до мозга костей, Галина привыкла к удобствам и комфорту, живой природе предпочитала пейзажи Шишкина, Пластова, где не было страшных кровососов, непролазной слякоти и пыльного зноя. А может, ей вообще наскучила семейная жизнь, и она стала ездить в отпуск в Сочи, в Ялту — на Черное море. Они как-то легко и безболезненно сошлись на таком решении и отдыхали теперь порознь.

Приезжая в отпуск, Крайнов на второй-третий день заходил обычно в редакцию районной газеты, где когда-то мальчиком, сразу после десятилетки, не поступив с первого раза в университет, начинал свой журналистский путь. В «районке» почти не осталось знакомых, кроме самого редактора Хазарова, у которого он начинал когда-то в сельхозотделе литературным сотрудником. Хазаров был «матерый» районный газетчик, старше его лет на десять. Когда-то Крайнов действительно считал его таковым, даже благоговел перед своим первым шефом, но с годами, закончив университет и проработав в центральной прессе, стал замечать в нем мелкотравчатость, рутину однотемья, невозможность вылезти из нее, подниматься до больших интересных тем, увидеть дальше своего носа, дальше и глубже обычной газетной кампании, вырваться из текучки. А тем таких в благодатных волжских краях было множество. Свежим взглядом Крайнов сразу схватывал их, в откровенных разговорах со знакомыми без особого труда, так, с интересом, походя изучал их, разрабатывал и, вернувшись в Москву, почти каждый раз делал одну-другую проблемную статью или интересный очерк для центральных или отраслевых газет и журналов. К Хазарову же он заходил не столько по старой памяти, сколько за тем, чтобы оставить с десятком новых своих рассказов, которые в течение года обычно прохо-

дили в «районке», приносили ему какой-то гонорар, но, что более важно, как считал он сам, «обкатывались» на земляках, создавали ему среди них известность. Было приятно встретить кого-нибудь из своих сверстников на рыбалке или у пивного ларька и услышать лестные отзывы:

— Читал, читал! Лихо ты нас расписал. Но приврал, Краек, приврал, — запросто называли его по детскому прозвищу, и от этого ему не было нисколько обидно. — За яйцами-то Крот лазил, а не Жаба. И за козу не меня, а Мужика стегал батька.

Бывшие друзья-приятели легко узнавали себя в его рассказах и относились к этому так же легко, не сердились. Тем более что Крайнов, используя богатые впечатления детства и юности, никогда целиком не описывал настоящих, живущих здесь людей — от одного брал броскую кличку, от другого повадку, случай, произошедший с третьим, приписывал себе — с миру по нитке и получался рассказ, вырисовывался его герой, похожий и не похожий ни на кого из знакомых, и эта правдивость, выдернутая из памяти, выписанная по-особому тщательно, больше всего была дорога ему.

В прошлом августе, приехав в отпуск, Крайнов захватил бутылку «Пшеничной», привезенную из Москвы, набрал в сарае вяленой рыбы, на кухне у матери всякой домашней снеди и в пятницу вечером, как обычно, отправился в редакцию. Хазаров только что подписал в печать последнюю полосу и явно обрадовался столичному гостю. Они засели в редакторском кабинете, ожидая, пока все разойдется. Крайнов рассказывал о московских новостях, своих поездках по Союзу. Хазаров жаловался на нехватку толковых работников — не держатся люди, одни «гастролеры», полгода поработают и «рвут якоря».

— Я тебе еще когда говорил: надо растить местные кадры, из выпускников школ, подающих надежды, из учителей, — напомнил Крайнов.

— Ха, растить! — безнадежно махнул рукой Хазаров. — Я тебя растил-пестовал, а ты журфак кончил и тю-тю, в Москве закрепился.

— Ну я другое дело, — стараясь не показывать самодовольного тона, ответил Крайнов. — Я женщину хорошую встретил.

— С хорошей квартирой, — с иронией продолжил его мысль бывший шеф.

— И не только...

Их разговор прервала девушка, стройная, тонкая, с короткими рыжими волосами, в плотно обтягивающем фигуру джинсовом костюме. Она привычно вошла в кабинет, но, сделав шаг к столу редактора и, видимо, увидев гостя, замешкалась у порога и, чуть помедлив, сказала:

— Николай Павлович, я из типографии. Все, правку сделали, на второй разворот машину пустили. Вот, гляньте «сигнал».

— Хорошо, Аферьева, — кивнул редактор, принимая от нее свежую газету.

— Я свободна? — просто спросила она.

— Конечно, Ириночка, до понедельника, — заморгал глазами, торопливо закивал головой Хазаров.

Пока редактор разговаривал с молоденькой своей сотрудницей, Крайнов успел разглядеть ее. «Новенькая, — отметил он про себя. — И не дурна. Кажется, метиска».

У девушки был восточный тип лица, сглаженный белой кровью. Таких лиц, где рядом жили казахи, калмыки, татары, русские, в окрестных селах встречалось немало, и поэтому Крайнов не очень удивился. Но, внимательнее приглядевшись к ней, он заметил, что черты ее лица мягче, чем у других, интеллигентнее, что ли.

Она закрыла за собой дверь, Хазаров поднялся и направился следом:

— Побудь минутку. Я гляну, разошлись ли.

— Что за девица? — спросил Крайнов, когда он вернулся и запер дверь на ключ.

— Ответственным секретарем сейчас, — как бы мимоходом ответил Хазаров и поторопил: — Все в порядке, тихо. Доставай, что там у тебя?

Они сдвинули со стола папки и бумаги, застелили его газетами. Крайнов достал закуску, разложил ее, поставил семисотграммовую бутылку «Пшеничной».

— О, какая! — воскрился Хазаров. — Из лучших сортов, по старым рецептам. Из Москвы вез?

— Как всегда...

За выпивкой говорили о всяком — о газете, о рыбе, о местных и московских знаменитостях. Но скоро Крайнов почувствовал, что Хазаров начинает повторяться, рассказывать то, что рассказывал и год, и два, и три назад, и ему стало скучно.

— Слышь, а что ты такую молоденькую отвсеком взял? В любовницах, что ли? — напрямую, но вроде бы в шутку, спросил он.

— Ну как молоденькая?... — пропустил лобовой вопрос Хазаров. — Ей двадцать семь.

— Двадцать семь? — искренне удивился Крайнов. — Я подумал, от силы — двадцать, вчерашняя школьница.

— Нет, что ты! У ней десять лет газеты и университет заочно окончен. Из сектора печати позвонили, предложили — я взял. Два месяца в корреспондентах ходила, теперь секретарем посадил. Толковая баба.

— И то заметил, газета у вас оживилась. Даже лицо свое прорисовывается. А то раньше, ты не обижайся, не полосы, а так, тят-ляп были.

— Были, были... — без обиды принял упрек Хазаров. — Теперь вот держусь за ценный кадр. Чтобы не улетела, машинистку в секретариат переселил, а комнату машбюро Аферьевой отдал. Здесь живет, при редакции.

— Сторожем, что ли? — улыбнулся Крайнов. — Или все же любовницей?

— Да брось ты, куда мне, — тряхнул сигаретой Хазаров.

— А что: это всегда свежо и интересно — старичок и молоденькая девочка. Как говорят: «Седина в голову, а бес в ребро». И горят старички... — не без намека сказал Крайнов.

— Слышал, на семинаре нам как-то говорили, теперь наоборот: женщины идут замуж за ребят на восемь—десять лет себя моложе.

— Ну, это замуж... Про любовниц-старушек я что-то не слышал. Пригласи-ка ее сюда, познакомь с местной прессой. А?

— Не стоит. Совсем девчонка. Зачем спаивать? — неуверенно сказал Хазаров.

— Брось ты, старик, ханжить. Что мы — святые? Не забывай, сам говорил когда-то: наша профессия — вторая древнейшая. Зови.

— Неудобно как-то, — все еще противился Хазаров. — Все же я редактор, женат, дети... Ну, если б всей редакцией — другое дело.

— Неудобно штаны через голову надевать, а свесть старого друга с хорошенькой девицей всегда удобно. Зови, зови. Скажи, с автором познакомишь.

Хазаров вяло пожал плечами, поднялся, пошел звать. Крайнов, глянув ему вслед, отметил, как постарел, оплыл телом бывший шеф: темя блестит лысиной, брюшко выпирает под пиджаком, зад стал круглым, как у женщины, плечи обвисли. И одет не лучше: короткие рукава до блеска затерты, рубашка несвежая — к концу недели, но все же, — брюки под коленками замяты в гармошку, каблук плетеных туфель стоптаны. «Засиделся, старик, — равнодушно подумал Крайнов. — Сдаешь, сдаешь, а таких девиц держишь... Не просто так, конечно, с прицелом». Он представил, как неуклюжий Хазаров обнимает эту юную девицу, как ему мешает живот, и расхохотался:

— Ой, смех один!

Не прошло и пяти минут, Хазаров вернулся.

— Едва уговорил. Чуть ли не настоял: мол, неудобно, свой автор, журналист из Москвы, писатель, — подмигнул он Крайнову.

— Ладно, ладно, редактор, — уловив издевку, в тон ему ответил тот, но затем вполне серьезно сказал, как уточнил: — Начинающий писатель.

Из книжного шкафа, где за стопками брошюр и журналов была спрятана батарея стаканов с засохшими винными растеками, Хазаров достал еще один, плеснул в него воды из графина, протер бумажкой, прополоскал и поставил на стол. Крайнов придал в хрустальной пепельнице окурочек, зажег новую сигарету. Хмель начинал одолевать его, голова становилась тяжелой, руки не совсем послушными. Он сидел, откинувшись на спинку стула, глубоко втягивал дым и ждал появления Ирины. Против него Хазаров то клал голову на ладони, то принимался приглаживать сразу обеими руками поредевшие мягкие волосы; они слушались его влажных рук хоро-

шо, но он снова и снова сбивал прическу и приглаживал заново.

— Ну сколько же ждать можно? — ерзая на стуле, нетерпеливо спросил Хазаров.

— Ты сначала налей, — кивнул на посуду Крайнов. — По полчашечке.

Попшатнувшись на стуле, Хазаров потянулся к бутылке, налил, вернее плеснул, во все три посуды.

— Сейчас, минутку. Она обязательно придет. Она обязательная. Во, уже шаги. Слышишь? — поднял он указательный палец.

Ирина тихо отворила дверь. На ней было легкое вечернее платье розового цвета. Оно очень шло ее молодости, будто смягчало смуглость лица и яркость рыжих волос.

«О, приделась не без вкуса», — удовлетворенно отметил про себя Крайнов, вообще не любивший женщин в брюках, и по смене ее наряда сделал для себя еще одно заключение: Ирина приняла их приглашение не безразлично. Он встал, подал стул и, шелкнув молодежато каблуками, подчеркнуто поклонился:

— Прошу к нашему шалашу.

Улыбкой она поблагодарила его и села, мимоходом оправив платье. Крайнов заметил под ним острые очертания коленных чашечек и с сожалением подумал, что ноги у нее, должно быть, тонкие, даже слишком тонкие.

— Я пить не буду, — сказала Ирина, когда мужчины подняли стаканы. — Я так, посидеть, поговорить, время убить.

— Ну, Ирэн, один глоточек, самый маленький.

— Сейчас можно, Ириша, даже нужно... За компанию, — наперебой стали уговаривать они и без особого труда уговорили.

— Только один глоток, ребята. Ладно? — сказала она и под одобрительные восклицания мужчин, выпив все, что было в стакане, как-то сразу стала веселая, беспокойная.

Ирина ловко отщипывала рыбу и хлеб, мелкими кусочками отправляла их в рот, после чего тонким языком быстро облизывала тонкие губы. Крайнов заметил, что у нее все тонкое — и пальцы, и руки, и брови, и вся фигура. Это была тонкость не от худобы, а естественная, подчеркивающая изящность и гибкость, она даже придавала девушке милую мнимость.

Трепались обо всем и ни о чем, разговор лился легко, непринужденно, будто между давно знакомыми близкими людьми.

— Вы знаете, в ваших рассказах не хватает лично пережитого, — сказала Ирина, и Крайнова это замечание сильно задело, он сразу заметно протрезвел. — Вот, вроде бы все верно, даже интересно, природа ярка, объемна, а не трогает. Холод какой-то, — продолжала она. — Вы не обижаетесь?

— Нисколько... — заинтересованный ее словами, натянуто улыбнулся Крайнов и пошутил: — При условии, если наш маленький критик будет доказательным.

— Маленький — в смысле вообще маленькая? Или только маленький критик? — с улыбкой и шуткой на шутку в ответ сказала она.

Крайнов принял эту игру, давал Ирине выговориться, и ее суждения, порой даже очень жесткие, теперь почему-то не задевали его самолюбия. Обычно он болезненно воспринимал критику, за чаркой же вообще старался не касаться своих рассказов, а тут ему стало интересно, в суждениях Ирины он находил много верного, о чем и сам, будучи откровенным перед самим собой, не раз догадывался, но никогда другим в этом не признавался. Временами, чтобы подлить масла в огонь, обострить и без того горячие доводы Ирины, он противоречил ей каким-нибудь примером из истории классиков. Это сбивало ее с мысли, она прерывалась, подыскивая, чем бы опровергнуть его довод, а он улыбался, глядя на нее, видя ее замешательство, и чуточку завидовал ее молодой горячности. Когда-то он сам был таким же вот, рвал глотку, споря в поисках истины, потом понял, что литературная стезя и все творчество — темный лес, каждый идет здесь своей тонкой тропкой, не видя и не зная, что ожидает впереди, каждый сам себе светит. И бессмысленно загонять себя в какие-то рамки, принимать мнение мэтров как закон — нет в искусстве авторитетов. Крайнов откровенно посмеивался над призывом маститых и признанных «Ни дня без строчки!» — писал всегда только под настроение или же выносил в себе четкий сюжет, переболев чем-то острым, побывав в драматических ситуациях. Один его рассказ вот уже несколько лет безуспешно «ходил» по журнальным редакциям. Он родился из реального случая. Крайнов выезжал тогда проверять жалобу в один северный леспромхоз. Здесь нещадно губили лес, занимались приписками и втихую сплавляли продукцию на сторону. В письме описывалось множество фактов, называлось достаточно виновных лиц. Но, приехав в поселок, Крайнов начал не с этого. В разгар дня он зашел в чайную, присмотрелся, взял пару кружек пива, подсел к «алкашам» и, не выдавая себя, угостив обрадовавшихся безденежных знакомцев, стал наводить разговор на интересующую тему. «Алкаши» знали все ходы и выходы — где чего достать, к кому обратиться. Они так хорошо приняли его, что даже вывели на «нужных» людей. Так что, когда Крайнов выложил перед леспромхозовским начальством свое служебное удостоверение, а вслед за тем все известные ему факты, те ахнули и схватились за головы. Спасая свое положение, директор леспромхоза решил накоротке договориться со столичным корреспондентом и повез его в урочища, по лесопунктам — глянуть хозяйство «в натуре». По пути завер-

нули на далекую заимку, здесь уже ждал обильный стол. Крайнов, шепетильный в таких вопросах, чтобы не быть обязанным, вел себя осторожно и пить отказался.

— Обижаете, дорогой товарищ, — уговаривал и укорял поначалу директор. — Мы ведь от души, у нас так принято встречать гостей.

Но, видя упорство и несговорчивость журналиста, он сказал напрямую:

— Слушай, Андрей! Ну что тебе от дел наших выпадет? Ничего. Давай решим полюбовно: заминаешь дело — мы тебе кое-что подарим. Дача небось под Москвой есть? Нет. Только участок? Так вот, будешь с собственной дачей. И не с какой-нибудь развалюхой — стандартной. Не успеешь приехать в Москву — по твоему адресу придет сборный домик. Дворец, игрушка... По рукам, что ли?

— Ну и жуки вы! — возмутился Крайнов.

— Не жуки — хозяева, — усмехнувшись, нагло уточнил директор. — Значит, отказываешься? Пеняй тогда на себя. Так ты отсюда не уйдешь, одной веревочкой с нами будешь повязан. — Давай, ребята! — ногой толкнул он дверь в сенцы и подал знак шоферу и леснику, возившимся там. — Действуйте!

Крайнов не успел толком оценить обстановку, как мужики вскочили в заимку, схватили его за руки, прижали к стене, пытаясь насильно влить в рот водку. Он едва вырвался, ударом ноги вышиб оконную раму и бросился в лес. Его ловили и загнали так далеко, что он заблудился. Больше суток голодный, оборванный, плутал он по лесным увалам, пока ночью не вышел к железнодорожной станции. В комнате ожидания никого не оказалось. Он постучал в зарешеченное окошко, заспанная кассирша изумленно спросила:

— Ты кто такой? Откуда?

— Американский шпион. Только что с парашютом выброшен, — обозленный на всех, пошутил он.

Окошко тут же захлопнулось, а через минуту щелкнул замок и на двери. Крайнов оказался взаперти. Он чуть не взвыл от обиды, ломился в дверь, уговаривал кассиршу, но та уже побежала собирать народ. Потом в комнату ввалилась толпа мужиков с ружьями. Смотрели на него как на настоящего шпиона, и, пока проверяли документы, пока он объяснял свое положение и неудачную шутку, не мог унять вдруг охватившего истерического хохота.

Вскоре газета выступила с его разгромным материалом, вслед за которым сняли леспромхозовское начальство и завели уголовное дело, а у него самого написали большой рассказ о губителях лесов, о людской жадности и глупости и, хотя сам автор был уверен, что рассказ хорош, его пока всюду отклоняли, мотивируя нетипичностью.

Прошлой весной он попал еще в одну переделку. Шлепнулись над эвенкийской тайгой — у вертолета отлетела лопасть. Спаслись только благодаря ма-

лой высоте, даже не покалечились. Сплывали с экипажем по бешеной речке на хилом плоту. Целую неделю добирались до ближайшего поселка. Тогда и родился рассказ «Трое на плоту», отмеченный одним известным писателем как острое и правдивое повествование о совместимости человеческих характеров.

Если же Крайнову не писалось — он себя не неволил: не брался за перо, кроме, конечно, газетных дел, по месяцу и по три, но если, как он шутил, «муза приходила», — вечера и ночи отдавал ей, работал жадно, даже горячечно, и тогда никто — ни жена, ни друзья, ни подружки — не могли вырвать его из-за стола. Случалось, он плакал настоящими слезами, описывая какой-то острый драматический эпизод с комком в горле, со стеснением в груди. Это чувство горя, обида за любимого героя доставляли ему наслаждение в момент творчества, потом все остывало, притуплялось, и через какие-нибудь полгода он читал строчки, облитые своими собственными горячими слезами, как чужой, хоть и совершенно знакомый текст.

— Разрешите, я закурю? — попросила Ирина, запнувшись на очередном вопросе Крайнова.

— Ириша, ты еще и куришь? — удивленно покачал головой изрядно захмелевший Хазаров.

— Ну только одну, Николай Павлович! Одну сигаретку, чтобы сосредоточиться.

— Ладно, сосредотачивайся, а нам надо что-нибудь придумать. «Пшеничная» кончилась, — с сожалением хмыкнул он. — Вы посидите, я вернусь мигом. — Редактор поднялся и сильно качнулся.

— Может, не стоит вам? Давайте я схожу, — предложила Ирина.

— Ты сиди, это дело мужское.

Крайнов взглянул на часы:

— Поздно, старик, полвосьмого.

— Кому поздно? Мне? Места, коллега, знать надо. Я сейчас...

Крайнов сунулся было в карман за бумажником, но Хазаров отвел его руку:

— Ни-ни! Моя ответная.

Когда он вихляющей походкой скрылся за дверью и в коридоре стихли его шаркающие шаги, разговор между Ириной и Крайновым прервался. Она взглянула на него, он на нее, и их взгляды без слов все сказали друг другу.

— А вы мне нравитесь, — первым откровенно улыбнулся Крайнов.

— И вы мне, — ответила, чуть помолчав, Ирина, прикрыла глаза и облизала рот, блеснувший влагой и белой зубной.

Он понял этот жест и на одном дыхании обнял ее, поймал влажный рот. Губы у нее оказались упругими, как резина, и теплыми. Они податливо открылись и чуть заметным подсосом ответили ему. Крайнов в одно мгновение окончательно протрез-

вел, поцелуй показался ему необычно сладким, каких давно уже не было, и страсть охватила его. Ему захотелось сказать Ирине что-нибудь очень приятное, необычное, чего никому, никогда или, по крайней мере, давно не говорил, не солгать, быть с ней искренним, но он не нашел в себе таких слов, вспомнил фразу героя одного из своих ранних рассказов «Девочка, маленькая моя» и прошептал ее на ухо Ирине. Он почувствовал, как ответили на эти слова ее руки, сомкнутые у него за спиной, и, невольно усмехнувшись в душе, подумал: «Вот, а доказывала, что не хватает лично пережитого, все надо испытать самому, нельзя ничего придумать и предвидеть, чтобы вышло правдоподобно, правдиво. Можно, девочка, можно...» Он думал так с легкой иронией, вовсе не собираясь продолжать бесполезные литературные споры. Куда приятнее ему было сейчас обнимать ее молодое хрупкое тело, целовать в теплый податливый рот, чем выслушивать, пусть и ее собственные, пусть и оригинальные, мысли.

— Мы ошалели, Андрей, — вдруг выдохнула Ирина. — Встали у самого окна. Хоть бы штору прикрыть...

— Чего ты испугалась? На улице же светло. Ну давай заштору. — Оставив ее, он хотел задернуть занавески, но она тут же запротестовала:

— Не надо, не надо! Сейчас Хазаров вернется.

— Ох, эти женские капризы, — уступая ей, развел он руками.

— Не капризы, а нормальная женская осторожность, — поправляя волосы, рассудительно сказала Ирина.

— Нет, капризы, — настаивал он. — Капризы, которые почему-то принято называть загадочностью, недосказанностью.

— Хм, пусть так, пусть — капризы. Но без них жизнь была бы скучна, — улыбнулась Ирина. — И все же ты приземляешь. Капризы — это не то, это внешнее проявление. Загадочность женщины в другом. И тебе ее не понять, никому не дано постичь, — прикрыв раскосые глаза и продолжая улыбаться, покачала она головой.

— Прямо так уж и не постичь? Такая уж загадочность?

— Андрюша, не разрушай иллюзий. У нас с тобой и так все слишком просто выходит.

— Это реализм, Ирэн. Все остальное выдуманно людьми ради неких иллюзий. Я предпочитаю, чтобы все было так, естественно.

Они начали было долгий неразрешимый спор, не острый, скорее просто шутливую словесную перепалку, но скоро в коридоре снова зашаркали шаги и появился редактор.

— Хреново в танковых войсках, — сказал он и выставил три темные бутылки «Кабернэ». — Больше ничего не было.

Вино пили долго. Крайнов без особой охоты, только пригублял его. «Кабернэ» действовало на него всегда расслабляюще, понижало давление, а ему хотелось быть сегодня крепким.

Он чувствовал, что вечер для него продлится долго, видел, что Ирина не против остаться с ним наедине. Наконец сунули в корзину для бумаг последнюю порожнюю бутылку и свернутые в газету остатки закуски. Взглядом дав Ирине понять, чтобы ждала его, Крайнов вызвался проводить Хазарова. Тот, выхлебав почти один все «Кабернэ», уже еле держался на ногах. Прощаясь, полез целовать Ирину, она едва увернулась. Крайнову силой пришлось тащить бывшего шефа к выходу.

— Ириша, все нормально. Порядок в танковых войсках, — сияясь улыбнуться, громко бормотал Хазаров.

На крыльце, ухватив редактора за грудки, Крайнов сильно потрянул его:

— Ну что ты, старик! Возьми себя в руки.

Тот вроде бы взял. Обняв Крайнова за спину, зашагал тверже, но, явно одурев, начал вопить теперь песню:

— По Дону гуляет, по Дону гуляет,

По Дону гуляет казак молодой...

На улице было еще не совсем темно, узнать певца могли даже издали. Крайнову не хотелось влипнуть в какую-то историю, не хотелось, чтобы их видели в таком виде. С кем другим — было бы, пожалуй, все равно, но с Хазаровым не хотелось. Поэтому он то и дело встряхивал его, уговаривал:

— Брось ты дурить, Павлыч. Тебя же здесь знают как облупленного.

Редактор наконец замолчал, потом пробормотал:

— Я не дурю, Андрюша. Я так, от сердца. Растил тебя, пестовал, а и поговорить теперь не о чем. Вырос, вырос... А мы мелкие сошки, в навозе были, навозом остались...

— Кончай ты пороть... — выматерил его Крайнов.

— Нет, я не порю, — поникнув головой, говорил Хазаров. — Я все вижу. Зря ты у Ириши не остался. Надо было остаться... Ты вернись, зря ушел. Впечатлил и ушел. А я вот не впечатлил... Ни тебя, ни ее... Вы в разговорах, а я как чужой. Хлебай, Хазаров, водку и помалкивай...

— Слушай, брось городить ерунду. Иначе я уйду, — Крайнову стал неприятен бред Хазарова, может, потому, что он чувствовал в его словах некую правду — действительно, скучно с ним было, с Ириной куда интереснее; и не только потому, что она женщина — собеседник она живой, неглупый.

Он кое-как довел редактора до дома, постоял у заборчика, дождавшись, пока вспыхнул свет в кухонном окне, и повернул назад к редакции.

Входная дверь была открыта. По памяти он прошел темным коридором, обогнул стоявший посре-

дине него бильярдный стол, только слегка задел локтем шкаф перед дверью в бывшее машбюро, и тот тонко звякнул стеклом.

Ирина лежала в постели, закинув на затылок голые руки, и вроде бы слушала музыку. Свет от приемника сверху падал ей на лицо, и оттого оно казалось желтым, полосатым. Гость, не сказав ни слова, откинул край простыни и сел на голый тюфяк, постеленный на казенном, обтянутом дерматином, диване. Слабо скрипнули пружины. Крайнов стал целовать в ямочки под локтями почти невесомые Ирины руки и, поднимаясь губами все выше по плечу, достиг шеи, тонких, как карандаши, ключиц, и, спихнув подбородком одеяло, поймал уже пересохшим ртом ее грудь. Грудь была словно несозревшая, маленькая, как у девочки-подростка, но не тугая. Тугим от прикосновения его губ стал только сосок: он вдруг сжался и вытянулся. Кончиком языка Крайнов тихонько играл им, ощущая приятное напряжение, затем почувствовал, что сосок теряет жесткость, отмякает, словно тает, уходит внутрь, растворяется на выпуклой поверхности Ириной груди. Он широко открыл рот и втягивал в себя остроконечную, как половинка лимона, грудь. Ирина не сопротивлялась, только прошептала:

— Не надо так сильно... Ты делаешь мне больно, милый...

Она так нежно сказала последнее слово, что у Крайнова захватило дыхание, и судорога прошла по его телу. «Хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова — «милый», — проколола сознание, всего его памятная есенинская строчка. «Как давно я не слышал: «Милый...» Как давно!..» — теряя голову, подумал он и вспомнил вдруг жену, принимавшую его на своем ложе почти всегда лишь по долгу супружества, вспомнил московских девиц, у которых было все, пожалуй, не хуже, чем у этой маленькой, как девочка, женщины, но слова, одного-единственного слова, все перевернувшего сейчас в нем, действительно щемящего слова — «милый» — он от них никогда не слышал.

— Ириночка, маленькая моя, — покрывая поцелуями ее жаркую, пахнущую арбузной свежестью, кожу, задыхался Крайнов. — Мне надо столько тебе сказать, столько сказать... За одно только слово...

— Не надо ничего говорить, милый, — откинув голову назад, тихо простонала она. — Не надо. Мне холодно, согрей меня...

Ее грудь поднималась и опускалась с постаныванием, тело дышало раскаленной свежестью. Крайнов чувствовал судорожными пальцами влагу на ее спине. Он дернул ворот своей рубашки, часть пюгвиц расстегнулась, часть покатила по полу.

— Не спеши, милый, не спеши, — так же тихо и страстно шептала Ирина.

Ее слова, доходившие до него словно издалека, вдруг стали действовать успокаивающе, хотя по-

прежнему щекотали в нем все. Он знал, что сейчас свершится, и после этого ослепляющего мига может наступить опустошение всего — и тела, и души, и ему нестерпимо захотелось продлить сладостное наслаждение ласковыми словами женщины, как можно дальше оттянуть момент развязки.

Крайнов без суеты, не отрывая от Ирины рук, скинул с себя одежду, сунул ее спутанный ком куда-то рядом на стул и вполз под одеяло. Коснулся рукой узкого бедра, крепкой ноги Ирины, и вдруг все в нем ослабло. Он испугался предательской слабости, стал ласкаться с большим жаром, удесятерил поцелуи и судорожную быстроту рук, но настоящей страсти не было.

Стыд охватил Крайнова, он оторвался от губ Ирины, соскользнул головой в подушку и глухо, почти с отчаянием, простонал:

— Ириночка! Что со мной? Не пойму...

— Успокойся, милый... Все хорошо. Успокойся. Ты просто устал. Ничего страшного, — шептала она и гладила легкой вздрагивающей рукой его волосы, плечи.

Крайнову стало легче от ее тихих, спокойных слов, кроткой, бережной ласки. Он повернулся на бок и с благодарностью, дыша ей в плечо и целуя его, спросил:

— Ты, правда, не обиделась? Нисколько?..

— Конечно нет. Ты просто устал, отдохни. Ты сильный мужчина, настоящий мужчина. Ведь правда? — ласково льстила она. — И даже не это главное. Мне просто хорошо с тобой. Очень-очень хорошо!

Нежные ее слова, в которых не было ни тени упрека, не только успокоили его. Они сладкой судорогой будоражили все внутри, пробуждали в нем какие-то новые неведомые чувства.

Ласковый шепот Ирины вызывал прилив ответной нежности к этой все понимающей женщине, желание быть с нею как можно чутким, бережным, сделать ей что-нибудь приятное, чем-то порадовать. Искал, чем ответить ей, и не находил. Он приподнялся на локте, посмотрел в освещенное светом приемника лицо Ирины, показавшееся ему необычайно красивым, и откровенно подумал, что таких красивых женских лиц восточного типа не встречал еще, не встречал такой кроткой, не требующей ничего взамен женской доброты, такого понимания со стороны женщины.

— Ирина, ты золотой человек. Ты просто бесценное счастье, — сознавая, что говорит не то, сказал он.

В ответ она промолчала, лишь крепко-крепко сжала веки и сама вся словно бы сжалась. Крайнову показалось, что это от счастья. Потом он говорил ей много ласковых лестных слов, в каждой черточке лица и тела находя красоту, неповторимость, и чем больше говорил, чем дольше всматривался в Ирину, тем сильнее она нравилась. Слова его перемежались

с лаской и встречали ответную ласку. Незаметно нарастала страсть, и, не торопя ее, они захлебнулись пришедшей в свой миг волной счастья, досыта насытились друг другом.

Уже усталый, лежа рядом с Ириной, Крайнов вспомнил свое опасение стать опустошенным после всего, что должно было свершиться, и нашел, что пустоты, крошечной, безразличной, не наступило. Опустошенным было только тело, хотя оно и не хотело сна, как обычно, но душу распирали восторг, хотелось шептать и шептать Ирине слова нежности и благодарности, говорить ей, как ему хорошо сейчас, и он не скрывал своих чувств.

Домой он вернулся к полудню следующего дня. В сенцах, видимо, заметив его из окна, встретила встревоженная мать.

— Ты где ж пропадал, сынок? Я извелась вся. Среди ночи батьку искать тебя поднимала, — с упреком сказала она.

Он сослался на приятеля, у которого якобы крепко вчера выпили и засиделись до утра. Матери такого ответа показалось недостаточно, она стала расспрашивать исподволь, и он, чтобы избавиться от ее вопросов, тут же переоделся, ушел в сарай, стал собираться на рыбалку.

Вечером, сказав родителям, что уходит на реку с ночевкой, уложил в лодку снасти, сумку с едой и двумя бутылками сухого вина, за которыми, урвав несколько минут, сбегал в недалекий магазин, одел свежестиранные джинсы и куртку, отчалил от берега, развернулся на широкой водной глади и через село ушел вверх по Волге, к тонам. До темна натаскал с ведро судаков и вернулся назад, но домой не пошел. Посадил свою «казанку» на цепь невдалеке от редакции, закрыл железным коробом мотор, запер его на замок и отправился к Ирине.

Она ждала его и встретила радостно. До полночи они жарили рыбу, пили вино, ласкались, говорили обо всем, что было им интересно. В порыве откровенности Крайнов рассказал о своем заветном детище — неоконченной повести, с которой что-то застопорилось дело вот уже с весны, о неудавшейся семейной жизни. Он вспомнил жену, для которой вся его работа, все его писательство, была лишь средством существования, приобретения материальных благ, вспомнил и задохнулся от обиды:

— Понимаешь, Ирина — все деньги, деньги, деньги! Разве ради них я писал? Разве в них видел счастье? Сидел ночами, курил до одури, глотал черный кофе, подхлестывая себя. На износ работал... Ну почему она не понимает, что это выше моих сил, что каждый рассказ — частица души! Кусок мяса, выданный с кровью из собственного тела...

Ирина понимала его, и он понимал ее. Она отвечала откровенностью на откровенность — поведала, каким образом оказалась на работе здесь, в их селе. История была глупая и печальная. В нее, уже побы-

вавшую замужем и обжегшуюся по молодости на раннем браке, влюбился восемнадцатилетний студент. Сначала она не видела в этом ничего особенного, встречалась с ним, но, когда он стал настаивать на женитьбе, отказала. Студент, потеряв голову, забрался на радиорелейную вышку и, крича на всю округу о своей несчастной любви, бросился вниз с тридцатиметровой высоты. Он хоть и оставил записку с просьбой никого не винить в своей смерти, но его родители, спустя месяц после похорон, желая получить за сына «страховку», стали затевать против Ирины, как виновницы всего, судебное дело. Ее дважды вызывали в прокуратуру, выяснив суть дела, отклонили просьбу истцов, но в городке пошли разные нехорошие слухи и толки, и она вынуждена была уехать, чтобы покончить со всей этой скандальной историей.

— Он даже стихи писал, — с грустью закончила Ирина. — Мне кажется, довольно искренние и даже в какой-то мере зрелые.

Крайнов, заинтересованный рассказом, попросил показать стихи, но Ирина не дала.

— Это мое, Андрей, личное. Не надо об этом.

Он сразу понял ее, скомканно извинился за нечаянную бестактность, мельком подумал, что эта история может стать интересным сюжетом, но не ухватился за него, как обычно ухватывался за все необыкновенное, не стал больше расспрашивать. Ему самому не хотелось, чтобы в их отношениях присутствовал кто-то третий, чтобы кто-то стоял между ними. Поэтому он и о жене почти ничего не рассказывал, ни словом не обмолвился о других, бывших в его жизни женщинах, будто не было ничего и никого, наивно намекал, что Ирина для него первая. Она старалась не разрушать его иллюзий, не расспрашивала об этом и сама больше не рассказывала ни о ком, видимо, понимая, что так будет лучше и ему, и ей самой.

Он зачастил теперь на ночные рыбалки, с которых возвращался почти без рыбы, и дома заподозрили неладное: отец молчаливо уносил в сарай на засолку улов, с беспокойством приглядывалась мать. Ему не хотелось тревожить родителей, веривших, что его семейная жизнь идет как нельзя лучше, и он стал осторожней. Но не было дня, чтобы он не встречался с Ириной. Ее ласка и, пожалуй, даже в большей мере, само общение с ней становились для него потребностью. Днем, когда случались приступы хандры и выпадали часы безделья, он изнывал от желания пойти к ней в открытую, прийти прямо в редакцию и сказать при всех:

«Здравствуй, Ириночка! Здравствуй, моя маленькая!»

Крайнов понимал, что в его тридцать с лишним лет такие жесты — глупость, мальчишество, но это желание частенько подтачивало и, если бы многие в округе не знали его самого, его родителей, он, наверное, пришел бы и ошарашил всех.

Отпуск пролетел очень быстро. Обычно к его исходу Крайнов пресыщался вольной жизнью, рыбалкой, бездельем и ему скорее хотелось в Москву, в ее бурливую суету, в ее «железобетонную, трамвайно-метровую мясорубку», как шутил он, хотелось встретиться с приятелями, посидеть с ними в Домжуре или в ЦДЛ за пивком с рыбкой, узнать, что делается в газетном и литературном мире, даже жену хотелось поскорее увидеть. А тут ему стало тошно. Он вяло укладывал в сумки вещи и чалки сушеной рыбы, вяло смотрел, как готовит в дорогу гостинцы мать. С Ириной вышло грустное расставание.

— Помни, что я есть, — сказала она на прощание. — Забудешь — я сама уйду.

Вернувшись в Москву, он не ощутил обычной радости и с первых же дней почувствовал, как ему не хватает Ирины. Бросал в почтовый ящик короткие открытки, понимая, что в них нельзя рассказать, как ему плохо одному. Прикидывал возможные варианты, чтобы устроить Ирину в столице, даже у сведущих знакомых интересовался этим вопросом. Подходящего выхода никто не указал. Была лишь единственная возможность: пригласить ее в Москву, устроить на квартиру или же через газету в гостинице, познакомить с кем-то из приятелей-холостяков и потом отдать замуж. Но Крайнов сразу отбрасывал такой ход. Отдать Ирину кому-то, отдать самому, что называется, своими руками? Нет, на это он никак не мог пойти! Появилась и другая мысль: развестись с женой, купить кооператив, но, хорошенько продумав такой вариант, он понял, что дело это долгое и хлопотное. Ему, в общем-то, не хотелось разрушать устоявшийся быт, он считал себя чем-то обязанным перед Галиной, ее родителями. К тому же она очень хотела иметь ребенка, и он был не против этого — считал, что ребенок нужен ему для самоутверждения. Ирина была совсем другое. Она нужна была ему не для семьи, а для души. Разбираясь в себе, своих чувствах, он находил, что она необходима ему как женщина, как понимающий друг, но вовсе не как жена. Он полагал, что семейная жизнь слишком скоро стирает чувства, быт распыляет любовь, и та бесследно улетучивается; хорошо, если еще остается привычка друг к другу и не возникает неприязни. Именно так у него и вышло с Галиной.

Была любовь, горячая, страстная — вторая сильная любовь в его жизни. Ему было двадцать пять, и, казалось, уже совсем зажила рана от потери другой, первой своей любви — семнадцатилетней девочки-одноклассницы. Вернуть ее не оставалось надежды — не дождавшись от него ничего определенного, она вышла замуж и куда-то уехала. Живя в Москве, он поздно узнал об этом и уже не мог повернуть события вспять. Надо было чем-то заполнить брешь, пустоту в душе — и пришла другая любовь. Через полгода он понял, что не любовь, а просто сильная влюбленность. И снова стала ему сниться та, первая,

святая для него девочка, которую он всего лишь несколько раз поцеловал. Его даже не интересовало теперь: любила ли его она или нет, хотя когда-то этот вопрос сильно мучил. Важно было то, что он — любил. Крайнов удивлялся себе: для него вновь зажегся свет ее веселых карих глаз и не потухал теперь, а светил все ярче. Он хотел увидеть их наяву, интересовался, приезжая домой, где эта девочка-одноклассница, особенно когда стал работать в Москве и появилась возможность слетать в любой край страны — он хотел использовать эту возможность для встречи с первой любовью. Но никто не знал, где живет она, след ее словно оборвался, и память Крайнова хранила лишь ее юное лицо, веселый свет ее глаз и боль глупой потери. Эта рана в его сердце уже не была остра, она подзажила, заросла, но случалось, когда Крайнову было особенно плохо, вскрывалась и кровоточила, не долго, но очень больно. И снова затягивалась, заживала, чтобы потом, спустя некоторое время, в самую тяжелую минуту опять хлестнуть его по сердцу непрощающей памятью.

Когда же в его жизни появилась Ирина, та, первая, забылась, словно совсем выветрилась из памяти, никаких чувств к ней не осталось, будто и не было их никогда — все исчезло бесследно. Он даже не заметил этого. Ирина захлестнула его, заполнила все его думы и чувства, почти совсем вытеснила и жену, и друзей, и чем больше проходило времени, тем яснее он понимал, что наконец-то нашел друга; не женщину, но единственного друга в женщине. «Это как первая любовь — встречается лишь однажды, — думал он. — Однажды и в зрелом возрасте. Ее нельзя потерять».

Тоска по Ирине была для него тягостной. Порой, когда становилось совсем невмоготу, он заказывал с ней переговоры по служебному телефону, но кроме общих слов — «как дела, как здоровье?» — ничего не мог сказать. Любовь ли это была? Наверное, нет. Что-то другое. Желание общения с ней, доброй, понимающей, что ли? Поэтому он так и ухватился за возможность командировки в родные места, сулившую встречу с Ириной.

Уговорить шефа особого труда не составило — поворчал-поворчал и согласился, а в отделе, по которому шло письмо, были просто рады спихнуть с себя лишнюю заботу: кому охота ехать в Астрахань зимой. Могли бы, конечно, обойтись и по-другому, направив жалобу на расследование собственному корреспонденту, но Крайнов просил горячо, и коллеги, понимая, что он хочет побывать дома, и к тому же считая его авторитетом в «рыбных» делах, без волкиты удовлетворили его просьбу. Он в один день оформил командировочные документы, получил аванс, связался с собкором, договорился, чтобы тот заказал номер в гостинице и прислал в аэропорт машину. Утром следующего дня он уже летел в южную сторону, и где-то далеко внизу катила подо льдом во-

ды почти незаметная с высоты, замерзшая, заметенная снегом Волга.

За несколько дней, подняв своей бурной деятельностью панику среди начальства и рыбинспекции, с помощью коллеги-собкора он почти полностью разобрался в жалобе, заказал в районных и областных организациях нужные справки и на той же соборовской «Волге» в воскресенье под вечер приехал в родное село. Шофер, совершенно вымотанный им за эти дни — гонял машину от темна до темна, поскорее распрощался и укатил назад, к постоянному хозяину, а Крайнов, не заходя домой, отправился к Ирине.

Она встретила его так, словно чувствовала его приезд, ждала. У нее даже оказалась бутылка «Донского игристого», хорошо взбодрившая гостя с дороги. Когда схлынула первая радость встречи, Крайнов почувствовал, как ему просто и хорошо с Ириной. Он говорил о своих делах, о том, как ждал этой встречи, и видел в ее глазах и словах полное понимание и нежность. Ей тоже было очень хорошо с ним. Она порывисто прижалась к его плечу и сказала, как выдохнула:

— Знаешь, я очень истосковалась по тебе. Но если я надоем, я уйду. Ладно? — повторила она свое еще летнее намерение.

Крайнову не хотелось таких грустных разговоров, и он в шутку сказал:

— А если я надоем — ты уйдешь.

— Нет, ты не надоешь. Мне очень хорошо с тобой. Не счастливо, не радостно, нет-нет, не то. Просто хорошо. Понимаешь?

Он понимал каждый ее жест, каждое слово, наверное, оттого, что Ирина ничуть не изменилась, осталась такой же, как летом. Казалось, она источала ласку и нежность не только глазами и телом — все ее существо жило этим, было доверчивым, будто своим.

— Я увезу тебя, Иринка! Или сам брошу все, перееду сюда, — в порыве чувств сказал он.

— И будешь работать в «районке», — ласково усмехнулась она, — а через месяц умрешь от скуки. Даже не от скуки, от сознания своего падения.

— Нет, в газету я не пойду. Устроюсь сторожить железобетонные плиты, — перевел он разговор на шутку. — Времени будет пропасть: сиди и пиши. Ты кормить меня будешь?

— Буду, из ложечки, — в тон ему ответила она. — А вообще-то все это глупости, Андрюша. Никуда ты не уедешь и меня никуда не увезешь, — в голосе ее послышалась грусть. — Да и не надо этого.

— Ну почему не уеду? Могу уехать... Знаешь, я измотался как белка в колесе. Бывает так тошно, что нет сил. Я устал от газетной мельницы, устал выплескивать строчки-однодневки... Есть просто слова, — продолжал он, — есть слова, которые я выдираю из себя с кровью... Им бы жить и жить, а выходит — они

на один день: газета! Понимаю, нужно! Важно! Но, кажется, я все же писатель...

Он закурил, с минуту невидяще смотрел в окно. С улицы постукивала в стекла снежная крупка. Опять задувал с казахстанской стороны шурган. Ирина зажала свою потухшую сигарету. Крайнов очнулся.

— Извини, Ариша...

Ирина зябко повела плечами: так называл ее муж в минуты интимности, и ей стало неприятно.

— Не зови меня так. Ладно? — попросила она.

— Хорошо, — кивнул Крайнов, почувствовав что-то не то. — Я, наверное, ужасный путаник?.. Нагородил здесь насчет творчества семь верст и все лесом...

— Я не люблю людей, которые могут все объяснять и все понимают, как им кажется, — сказала Ирина. — Ненавижу, когда меня берут за руки и ведут... Читай и понимай, мол, вот так, на картине изображено вот то-то, в стихах заключен вот такой-то смысл...

И она стала развивать мысли относительно их взаимоотношений. Они во многом перекликались с теми, что пережил Крайнов во время разлуки. Он удивился столь необычной схожести своих и ее взглядов и еще больше зауважал Ирину.

— Ты мудрая, как гремучая змея, — вполне серьезно сказал он старую избитую шутку.

— Нет, я просто хорошо узнала тебя и себя в тебе увидела. Я понимаю все, я же была замужем и знаю, что это такое, чем оборачивается супружество. В нем есть два отрицательных момента: пресыщение и спущенные тормоза.

— Хм, пресыщение — понятно. А тормоза? — заинтересовался Крайнов ее мыслью.

— Тормоза... Это, понимаешь, когда человек становится перед другим таким, какой он на самом деле: без ретуши, без красивых слов. И если оказывается, что это два разных человека — прежний и настоящий, — это страшно. У меня вышло именно так. Надо было все рвать или потерять себя. Я разорвала.

— И не жалко?

— Нет, не жалко. Страшно повториться. Вот я думаю о тебе и, кажется, вижу тебя насквозь, понимаю всего-всего. И принимаю таким, как есть — не идеальный, но умный, добрый человек. Я не хочу приесться тебе, сама разочароваться. В нас есть что-то общее, это редко встречается, надо сохранить его.

— Но это же значит — всегда быть голодным... Ты понимаешь меня — голодным от недостатка друга? — спросил Крайнов.

— Без этого нельзя. Но такой голод лучше пресыщения, с которым придут претензии, обиды, может быть, даже ссоры. Я не хочу этого.

— Выходит, мы должны быть довольны только случайными встречами?

— Выходит, так. Но между ними — вся жизнь, сознание, что есть на свете единственный, твой че-

ловек. Ты понимаешь это? Представляешь, какое это счастье?

— И не важно, что этот единственный, твой человек может быть с другой, с другим? — вопросом на ее вопрос ответил он.

— Ты хочешь быть максималистом? — тоже вопросом ответила ему Ирина и вдруг спросила: — Слушай, Андрей, ты по любви женился?

— По любви. А что? — не совсем понял он ее.

— Так вот, зачем далеко ходить за примерами. Если по любви, то осталось ли что от твоих первых чувств к жене?

Крайнов недолго подумал и откровенно сказал:

— Пожалуй, нет.

— Теперь, надеюсь, тебе ясно, что ты искал вне семьи? А ты искал, искал — я уверена! Ясно, почему нашел меня? Возможно, нашел бы другую, но встретила я, случайно встретила. И оказалась той, что была нужна тебе. Наверное, если меня вывернуть всю наизнанку, показать тебе все мои темные стороны — а они есть, конечно, — ты в чем-то разочаруешься. Я не хочу этого. И сама не хочу видеть твоей изнанки.

— То есть мы не должны быть между собой откровенными, откровенными до конца? Нет, Ирина, я думаю, что откровенность — главное, без нее нельзя. Понимаешь, родства души не будет.

— Согласна, без откровения нельзя. Но нельзя же и всю себя нараспашку! Нельзя же мужу смотреть, как жена рожает! — Ирина немного смутилась от такого сравнения, пришедшего, видно, ей мгновенно, и поправилась. — Может, не совсем точно я выразилась — не видела, как рожают. Но что-то в этом роде.

— Ты здорово сказала, — восхитился Крайнов. — Мой мэтр — один большой хороший писатель — говорил нечто подобное, когда я пришел к нему со своими первыми опусами: «Испробуй все, что есть в жизни: потрогай, вкуси, разгляди. Одного не надо — смотреть женские роды».

— Вот видишь, какая я умная. Даже самой неловко, — улыбнулась Ирина.

— Ты мудрая, как Афина Паллада. Но из чьей головы ты сделана? — обняв ее, шутливо сказал Крайнов. — Так что за Зевс виновник этого?.. Или не будем пресыщаться мудростью? Правда, я устал и с дороги. Давай спать.

Утром Ирина проспала на работу. Их разбудил стук в дверь и голос Хазарова:

— Ириша, ты жива? Девять часов.

Она быстро собралась и ушла макетировать очередной номер газеты, а между этим занятием, урывая минуты, как летом, забежала в свою комнату, где на казенном диване безмятежно спал Крайнов, но не будила его. К обеду он проснулся сам. Оделся, надавил дверь — заперта. Послонулся по комнате, вскипятил чай и сел за блокнотные записи в ожида-

нии Ирины. Она пришла в обеденный перерыв, спросила:

— Ты пойдешь к родителям?

Крайнов подумал, что впереди целая неделя, он еще успеет навестить стариков, может даже переночует дома, и сказал:

— Нет, не пойду. Останусь на конспиративной квартире. Ты только побыстрее заканчивай. Неси «загон» и строкомер сюда, буду варганить тебе по-лосы.

— Не из чего варганить-то. Без «загона» работаем. «Тассовок» сейчас наклею — вот и макет.

— Бедно-бедно живете. Давай я сделаю «Репортаж из подполья», — пошутил он.

Они потрелялись о газетных делах, пообедали. Ирина вновь ушла на работу, а он, запертый, как в клетке, давно управившись со своими записями, стал перебирать знакомую с лета библиотеку Ирины, умещавшуюся на двух досках, подвешенных на шнурах вдоль стены. В ней было сотни полторы добротных книг: хорошо подобранные русские классики и зарубежные писатели Ремарк, Гашек, Хемингуэй, Фолкнер, Селинджер, но было порядочно и разных дешевых пропагандистских брошюр, которые Крайнов не держал бы даже в служебной библиотеке. Настроение его сейчас к чтению не располагало, и он, пересмотрев заинтересовавшие его книги, оставил библиотеку, стал слоняться по комнате без дела, потом выдвинул ящик стола, перелистал в нем бумаги, увидел под ними толстую тетрадь в жесткой обложке, открыл наугад.

«И ледяной, бездонной прорубью.

Окажется любовь твоя», — прочел он, и эти строки поразили его.

Но дальше шли стишки слабые. «Самодельные», — подумал он. — Это, должно быть, того безумца, что сиганул с вышки». От такой догадки Крайнову стало неловко, к тому же он вспомнил слова Ирины «Не надо, это мое, личное», и положил тетрадь на место, прикрыв ее, как было, бумагами.

«Может, когда-нибудь сама покажет», — предположил он, стараясь заглушить в себе интерес, проснувшийся вдруг к влюбленному студенту-самоубийце. Продолжая вышагивать по комнате, смоля сигарету за сигаретой, Крайнов ждал не дождался Ирины. Остаток дня показался ему вечностью, хотя она раза три и забежала навестить его.

Еще один день он провел взаперти, несмотря на советы Ирины сходить днем к родителям, а на третий утром встал вместе с ней и еще по-темному вышел из редакции.

3

Встреча со стариками прошла, как обычно: поцеловал мать, обнял отца. За стол сели. Мать, разливая чай, будто мельком сказала:

— У Палеевых-то Сам помер. Сороковины на днях. Динка приехала хоронить, да не застала — батьку-то уже на кладбище отнесли, зарыли.

Крайнова как ослепило:

— Динка! Одна?

— С ребятами, а мужа не видать что-то. Тут на днях мимо нас с сестрой и двойняшками своими шла. Я с водой от реки возвращалась, оставила коромысло, гляжу — она...

Пока мать рассказывала, он вспомнил вдруг все: смешливое лицо девочки-одноклассницы, ее глупые карие глаза, немногие встречи с ней, первые поцелуи, свою юношескую боль, глупую потерю Дины, весть о ее замужестве, новый прилив воспоминаний, захлестнувший его вскоре после женитьбы, сладкие сны, в которых являлась она, желание поехать и отыскать ее, и снова ожившую боль, долго кровоточившую в его сердце и памяти. Воспоминания пронеслись быстро, как летят из-под пальца согнутые страницы книги. Этой книгой была вся его жизнь, но сейчас она перемешалась в сознании, спутались в голове все факты и события, связанные с Диной. В его и без того переполненной душе вдруг стало наплывать странное, почти физически ощущаемое чувство: захотелось непременно увидеть свою первую любовь, на час, на миг оказаться в прошлом. «Интересно, как мы встретимся, что я почувствую к ней? Разочаруюсь ли, снова пожелаю, что потерял ее?» — подумал он. Припомнились давние размышления, в которых он представлял эту встречу, даже описал ее в своей еще не законченной повести. В нем росло желание проверить себя, свои прозаические выдумки на реальной действительности. «Так ли все выйдет, как я полагал? Останется ли что в душе после этого? Вдруг она подурнела, стала оплывшей и толстой, как ее сестра?» — заволновался Крайнов. Он все задавал и задавал себе вопросы, и с ними зрел план, как увидеть Дину, как заговорить с ней, что сказать. С какой-то виной он подумал об Ирине, но тут же оборвал себя: «Такая возможность больше не представится. Это единственный, случайный шанс глотнуть воздуха юности».

Сказав старикам, что есть кое-какие дела к местным властям, что он, скорее всего, задержится и, вероятно, надолго, возможно, даже уедет в соседний район, Крайнов велел им не ждать его и еще до обеда отправился бродить по селу, выбрав такой маршрут, где, как он полагал, возможна встреча с Диной. Он прошалялся по улицам часа два и оказался около того памятного для него дома, в котором когда-то жила она.

Под окнами, как и у многих других, стояла на бревнах-катках большая моторная лодка. Каюта ее была задернута куском ветхого брезента, подпорки с одного боку повалились наземь и посуда накренилась. Дом Палеевых постарел и очень обветшал, в давно не беленных стенах темнели щербинки отвалившейся глины, ставни почернели и покосились, кры-

тая тесом крыша коробилась, в камышовом плетне, как пустые десны, зияли дыры. Во всем чувствовалось, что хозяина здесь не было, а если и был, то либо лодырь, либо стар и немощен. Крайнов замедлил шаги, остановился, всматриваясь в окна, но в них, кроме отдернутых в стороны белых занавесок и зеленых кустов герани, ничего не было видно. В комнате не мелькнула даже случайная тень. Стоять столбом посреди улицы было неудобно, не хотелось вызывать постороннего любопытства, и Крайнов, то и дело оглядываясь на крылечко и окна палеевского дома, побрел дальше. Он сделал еще круг по ближайшим улицам и дорогой вспомнил, что рядом с Палеевыми должен жить Артем Песчаницын, бывший сосед Крайновых, купивший, как женился, себе отдельный дом и после этого разъехавшийся с братом. «Но как я к нему зайду? Зачем?» — думал Крайнов, снова подходя к тянувшему его, как магнитом, месту. Он оглядел дом Песчаницыных и обрадовался, что его боковые окна смотрят прямо в заулочек, в окна Палеевых. Приглядываясь то к тем, то к другим окнам, Крайнов перебирал в памяти семью Песчаницыных: «Так, должна быть жена, сын... племянник Борька помладше меня. Во! Точно! Борька. Он, кажется, где-то в Навои сейчас. Мне нужен его адрес, хочется встретиться дружка детства — я скоро еду туда в командировку», — обрадовался он неожиданно возникшему плану и смело направился к калитке, не торопясь открыть ее, погладел на окна Палеевых, прошел к крыльцу. Кося глазом в сторону, долго обметал с ботинок несуществующий снег, наконец вошел в дом, громко сказал с порога:

— Живые есть?

Спустя минуту появился заспанный, с красной отлежалой щекой, хозяин. Он сразу узнал Крайнова.

— Здорово, Андрюха! Ты откуда? — подал Артем шершавую, как пемза, ладонь.

— Да вот, в гости зашел. Можно?

— Проходи, чего там. Только вот угостить тебя нечем.

— Да я ненадолго, дело к тебе есть. Ты что один-то?

— Катька на работе, Герка тоже, а дочка из школы еще не пришла. Спал вот, мне ночь работать.

В трех словах Крайнов объяснил причину своего посещения.

— Адрес, говоришь? погоди, сейчас найду. Была тут от Борьки открытка к Новому году. — Он принялся перебирать сложенные на подоконнике газеты и письма и заодно расспрашивал гостя: — Ты где живешь-то?

— В городе-герое, столице нашей Родины, — отвечал Крайнов со значением.

— А с работой как, с семьей?.. Ребята есть?

Крайнов скупо рассказывал, что живет хорошо, всем доволен, а сам без приглашения сел на стул, стоявший как раз против окна. Он заметил в углу кухни электрокамин и попросил хозяина:

— Включи-ка погреться. Что это у вас так холодно?

— У меня паровое отопление. Вон в загородке котел, труба вдоль стены — видишь? Сам сделал. Сейчас протоплю, тепло станет. А камин ты включи, включи, если холодно, сунь вон штепсель в розетку.

Придвинув камин поближе, Крайнов грел над ним руки и, глядя в окно, расспрашивал Артема:

— Кто это через заулочек живет? Дом гляди какой захирелый.

— Костя Палеев жил, помер недавно.

— Что же теперь нет никого, пустует дом?

— Нет, женка осталась.

— Молодой умер-то?

— Какой молодой! Старик, лет десять уже на пенсии был.

— Чего ж у него дом-развалюха? Детей, что ли, нет, помочь некому?

— Хм, детей много, штук шесть, кажется. Да все разъехались. Старший, Вадим, по зиме приезжал в отпуск. В бане они с батюшкой решили помыться. Своей-то нет, мою истопить попросили. Ну, я чего? Разрешил, от бани же не убудет, как-никак соседи ведь. Они воды с Волги на санках навозили. Костя пошел их в сарай убирать да и ткнулся там. Сын спохватился: чего долго батюшки нет. Нашел уже оконченного. Так Костя и не помылся... Вскрыли его в больнице, легкой смертью, сказали, помер — сердце остановилось в одночасье. А бойкий ведь старик был. Кроликов штук сто держал. Не знаю, кто теперь за ними смотрит. Женка его, тетка Шура, по осени поскользнулась на гололеде, ногу сломала, едва ходит теперь. Куда ей с больной ногой? Небось Динка за кроликами ухаживает. Она приехала хоронить, да не успела. С ребятишками приехала...

— Это что за Динка? — словно не понимая, о ком речь, спросил Крайнов.

— Дочка младшая... Есть еще сын помладше, а эта из девок младшая. Да знаешь ты ее, ровня она тебе. Вместе небось гуляли? Ну, черная такая, красивая... Вот, письмо старое нашел. Держи, я без очков не разгляжу.

Крайнов достал из кармана атласный корреспондентский блокнот, переписал в него адрес. Тут в кухонном окне Палеевых вспыхнул свет, и стало все хорошо видно: стол под цветастой клеенкой, черный зев печки, но людей в кухне не было. Крайнов не отрывал от окна взгляда. Немного погода в нем мелькнула женская фигура. Он подался вперед, однако разглядеть ее не успел, фигура пропала и, спустя несколько секунд, появилась вновь. Верхнюю часть лица скрывал оконный переплет, но Крайнов то ли впрямь узнал, то ли догадался, что это была Дина.

Хозяина привлёк его внимательный взгляд, он подошел к окну и тоже глянул туда.

— Да вот же она — Динка! Должен ты ее знать, — уверенно сказал он. — Ее небось все знают.

— Чем же она знаменита? — через силу усмехнулся Крайнов.

— Чем знаменита, говоришь? — довольно переспросил Артем. — Уж больно красивая! Я ее с девчонкой знаю. Двоих родила, а почти нисколько не изменилась. Шикарная женщина! — Он даже причмокнул языком от удовольствия.

Бесхитростная Артемова похвала Динкиной красоты стала приятна Крайнову. Он самодовольно подумал, что и ему, пусть немного, пусть чуть-чуть, но все же перепало от этой «больно красивой», «шикарной женщины». Но тут же в него вошла неясная зависть к тому счастливцу, что стал ее мужем, кому досталась она вся, целиком.

— Я помоложе был, — с легкой иронией или грустной усмешкой продолжал Артем, — тоже вот на нее заглядывался. У меня молодая жена под боком, Герка рос, а вот тянуло на Динку глянуть. Я не мастак по бабам, но тут будто черт попутал. Девчонка, пигалица, а засмотришься на нее, залюбуешься, вроде как картинкой какой. Прямо глаз не оторвать — до чего хороша! Катюшка, бывало, крикнет: «Ты что там прилип к окну?» А мне отрадно: красивая — и все тут.

«Не ты один заглядывался», — чуть было не сказал Крайнов, но что-то его удерживало, и он, стараясь как можно безразличнее, протянул:

— Да знаю я ее, вместе учились.

— Чего ж ты дурака тогда валяешь? — удивился хозяин. — Не помнишь такую красавицу!

— Нет, серьезно, забыл. Полтора десятка лет, как школу кончили — упомнишь ли всех? Да и фамилия какая-то незвучная — Палеева. Ты же знаешь, у нас полсела «Леевых»: Андреевы, Зикеевы, Пантелеевы, Палеевы... Только ты вот — Песчаницын — да я Крайнов — редкие. Ты, верно, как братан твой дом продал, всем табором в Навои махнул, один с такой фамилией остался? — спросил Крайнов, чтобы как-то увести разговор в сторону, не выговориться чисто-сердечно; чувствовал как что-то тянет его ответить Артему откровенностью на откровенность. Он вдруг увидел в этом небритом, конопатом мужике, с грубыми, большими ладонями, с рыжей, волосатой грудью, родственную себе натуру. Крайнов знал, что многим из ребят, его сверстников, Дина нравилась, он помнил, как на ее безразличие или от зависти к нему и другим счастливчикам, которым удавалось ее проводить хоть разок, обойденные вниманием красавицы Дины сыпали в ее адрес всякую гадость. Как-то Андрей даже ввязался из-за этого в драку с одним из пошляков — разбил тому в кровь нос и губы, сам получил сиреневый фингал под глаз; дело было зимой, а он с неделю ходил потом в темных солнцезащитных очках, по вечерам, возвращаясь от Дины, лечил синяк свинцовыми примочками. Теперь, вспомнив все это, он с благодарностью подумал: «Добрый ты человек, Артем. Спасибо...» Но тут же у него возникла мысль, и он начал про себя развивать ее: «Слу-

шай, старик! Прекрасная идея: сорокалетний мужик любит девочку-соседкой, тайком от жены подглядывает за ней, и что-то его сосет, что-то мучает... Может, воспоминание о другой, несбывшейся? Ну гложет мужика, гложет — хоть криком кричи! Тоска на всю жизнь. Сюжетик. Стоит покопать. Тут вечная тема, моя тема!» Ему стало совестно этих размышлений, и он оборвал себя, как отрезал: «Все тебе темы, одни темы, сюжеты! Надо хлебнуть жизни, просто хлебнуть, пережить что-то, а не думать все время: «Напишется — не напишется?» «Чтобы писать хорошо — страдать нужно, страдать!» — вспомнил он слова Достоевского.

Уже заметно смеркалось. Снег за окном сперва поголубел, затем посерел, и желтый квадрат от палевого окна четко прорисовывался на нем.

— Пойду я, Артем, — сказал Крайнов. — Засиделся у тебя, старики мои, наверное, совсем заждались. В командировке я здесь, вот выкроил несколько дней, к ним завернул.

— Привет своим передавай. Лукича-то я, бывает, в пивной вижу, а тетку Клаву давно не встречал. Как ее здоровье-то?

— Здорова, хлопчет понемногу, — неопределенно сказал Крайнов. — Ну пока.

Он вышел на улицу, в последней надежде повернул к дому Палеевых. Под окнами остановился, закурил, и вдруг, словно привлеченная огнем его спички, в оконном проеме возникла Дина. Крайнов сразу узнал ее, успел разглядеть черные, распущенные по плечам волосы. Свет погас, Крайнов махнул рукой, привлекая ее внимание, мол, выйди на улицу, и свистнул, как прежде вызывал в юности, тремя короткими свистками. Он видел, как задернулась занавеска и снова зажегся свет, Дина исчезла от окна.

— Сейчас выйдет! Увидела, услышала, — лихорадочно прошептал он и почувствовал, как гулко застучало сердце.

Сам не ожидая того, он заволновался и от волнения ощутил во всем теле легкую дрожь, которую было невозможно сдержать. Он вдруг сломал сигарету, швырнул ее в сугроб, стал зажигать другую и не сразу сумел закурить — спички ломались, коробок прыгал в руках.

— Фу, как мальчишка! — обругал он себя.

В сенцах хлопнула дверь. Обостренный слух различил легкие шаги и скрип половиц.

Дина стремительно выпорхнула из двери, проскочила коротким заулком, и в легком беге ее Крайнов увидел любимую девочку-одноклассницу, ничуть не изменившуюся за эти годы. В нем все напряглось, задрожало радостно и тревожно, он почувствовал, как теряют твердость, подкашиваются ноги, и, боясь упасть, вцепился руками в штакетины калитки, с такой силой сжал их, что пальцы заломило в суставах и ему даже послышалось, как они захрустели.

— Здравствуй, Дина, — в его голосе появилась противная хрипота, надтреснутость, голос показался чужим и будто издалека.

— Ой, Андрей! Я не узнала тебя, — замерла она на бегу.

— А я узнал... Увидел в окне и сразу узнал, — волнуясь, задыхаясь скрипучей хрипотой, словно проглатывая слова, заговорил он.

— Как ты оказался здесь? Как узнал, что я в Лебяжьем? — радостно и недоуменно спросила Дина.

— Биотоки, Дина, биотоки, — скривил он рот, как от боли, и подумал, что эта гримаса не идет ему, портит лицо, старит, а перед Диной, сохранившей свою свежесть и молодость, ему хотелось сейчас тоже быть юным.

— Ты все такой же, выдумщик, — с грустью сказала она и легким движением руки подняла песочный воротник пальто, закрывая им щеку.

Ветра не было, не было холодно, был просто давний ее жест, и Крайнов сразу вспомнил его.

— И ты все такая же, — сказал он и невольно взял ее руки в свои ладони.

Руки Дины еще сохранили тепло комнаты, были мягки и гладки. Он вспомнил, как эти руки любили ласкать его волосы, и, забыв, что на улице еще не совсем стемнело, на них смотрят десятки окон и где-то рядом по дороге идут люди, прижал ее ладони к щеке.

— Не надо, Андрей, — тихо попросила Дина. — Пойдем лучше в дом. Я напою тебя чаем или кофе. Хочешь кофе?

— Хочу, — кивнул он и тут же забеспокоился: — А я не скомпрометирую тебя?

— Перед кем? — удивилась она.

— Ну, мать... ребята, — замялся Крайнов.

— Вон мои ребята, — кивнула она в сторону огорода и улыбнулась. — Видишь, два карапузика на плетне повисли? Пусть еще побегают, крепче спать будут.

— Твои ребята... А почему не мои, не наши? Ведь могли быть наши? — тоскливым голосом, стараясь подавить в нем нотки упрека, сказал он.

— Могли быть, могли... Не надо, Андрей, об этом, — с мольбой, видимо вспомнив что-то, сказала она. — Пойдем пить кофе, в тепле согреешься. Ты все такой же зяблик?

Он чуть не застонал от пронзившей все его существо душевной боли: так называла его только она. Той холодной школьной зимой он прибежал сюда в тонком осеннем пальтишке, замерзнув дорогой до зубовного цокота, так что говорить нормально не мог. Она смеялась над ним и прогоняла обратно.

— М-м-мне те-е-пло, — заикаясь, упирался он. — Ну-у е-еще пь-п-пять минут, Д-д-ди-ночка!

Сжалившись над ним и не словив его упорства, она тихонько, чтобы не слышали родители, проводила его на кухню и поила горячим крепким чаем, в шутку упрекая:

— Зяблик мой, зяблик, сидел бы ты на печи.

Андрей, как замерзал, так и отогревался быстро. Через пять—десять минут он снова звал ее на мороз лишь затем, чтобы вновь услышать от нее это ласковое, заставляющее его замирать, слово — «зяблик».

— А мы не разбудим твоих родителей, мы будем тихо-тихо, как тогда? — забыв о времени, пошутил он.

— Нет, не разбудим. Мама так рано никогда не ложилась. А отец... Он уже никогда не проснется. Ты, наверное, слышал?

Крайнову стало неловко от своей шутки, он сочувственно закивал, с трудом выдавил из себя:

— Извини... Я понимаю твою потерю... Тебе совсем не до чая. Прими мое искреннее соболезнование, — с чувством стыда, понимая, что говорит не то, но не находя других слов, сказал он затертую, казенную фразу. — Я пойду, Дина. Не ко времени... Как-нибудь в другой раз.

— Ну что ты, Андрей! Пойдем, посидим... Похороны уже давно были, сороковины прошли.

— Что ты скажешь матери? Кто я тебе? — все еще стеснясь, спросил он.

— Одноклассник, скажу. Ты же действительно мой одноклассник?

— Увы, всего лишь одноклассник... — с горечью проговорил Крайнов.

Они прошли в дом, сняли верхнюю одежду, Дина провела его в комнату.

— Ты посиди здесь, вот телевизор посмотри. Я чайник поставлю, я быстро, — сказала она и ушла на кухню.

Он остался один. Серый экран, на котором скакали на серых лошадях серые всадники, не привлек его внимания. Крайнова заинтересовали фотокарточки, стоящие на комодике и развешанные по стенам в больших рамках, по десятку-полтора в каждой. Он выискивал на них Дину и находил. Вот она, еще школьница, в пестром платке и пальто в крапинку, улыбается, придерживая рукой воротник, закрывая им часть лица. Этот снимок Крайнов хорошо помнил — он был у него, ребята из фотокружка сделали, у них выпросил, но теперь снимок затерялся где-то в бумагах. Вот еще один, незнакомый, но лица на нем знакомы: Дина, ее сестра и подруга Шура Дубинина из параллельного класса. «Дубинка», — вспомнил он ее шутливую, а в общем-то верную, школьную кличку. Карточку с фирменным клеймом Рижского фотоателье, стоявшую на телевизоре, Крайнов разглядывал с особым вниманием: Дина в светлом, праздничном, будто свадебном, платье и рядом худой высокий парень. «Муж, — догадался Крайнов. — Пожалуй, он симпатичен, — без всякой зависти и ревности подумал он. — Женщинам нравится такой тип: волевое лицо, стальной взгляд, выющиеся волосы. Плакатная личность».

Дина вернулась скоро и застала его за разглядыванием фотографий, но виду не подавала, что ей не-

приятно его занятие, будто невзначай отвлекла внимание на себя, сказав:

— Я не умею развлекать. Вот, садись на диван. Рассказывай.

— О чем? — невесело спросил он. — О чем, Динка? Дай лучше погляжу на тебя. Можно?

Она не ответила, лишь потупила взгляд. Крайнов снова взял ее руки и почувствовал, как по ним будто ток пошел. От этого толчка Дина подняла глаза, и он смог разглядеть все ее лицо до мельчайшей черточки. Дина по-прежнему, как в юности, была красива. Она почти не изменилась за эти десять с лишним лет. Только пропал из глаз озорной блеск — в их самой глубине словно спряталась печалинка, и две тонкие симметричные морщинки прорезались от носа к уголкам губ. Отлучаясь, она успела накинуть на плечи цветастую шаль с длинными кистями, и Крайнов, никогда не видевший ее в таком наряде, подумал, что Дина очень похожа на цыганку; не тех цыганок, что ловят за руки пассажиров на вокзалах городков и областных центров, предлагая погадать и предсказать судьбу, что, озираясь по сторонам, приторговывают женской косметикой, а тех, которые играют на сцене столичного театра «Ромэн».

— Слушай, а в тебе есть цыганская кровь? — открыв для себя в ней новое качество, в шутку спросил он.

— Наверно, где-то в дальнем-дальнем колене, — улыбнулась она в ответ. — Мы только по метрикам русские, а сами... азиаты настоящие. Вон, у тебя глаза становятся щелочками, как засмеешься...

У них легко завязался разговор. В нем не получалось четкости и стройности, но он был для обоих интересен. Вспоминали одноклассников — кто? где? кем? — рассказывали о себе. Крайнов не спускал с Дины глаз, не мог налюбоваться ее лицом. Он действительно ощущал волнение перед ее красотой, почти такое же волнение и трепет, как в юности. Ему хотелось не столько говорить, сколько смотреть в эти любимые, теперь чуть с печалинкой, Динины глаза, слушать ее мерно льющийся тихий голос, узнавать в ее жестах веселую девчонку-одноклассницу и находить в этой молодой красивой женщине новые черты, более мягкие, подчеркивающие привлекательность, обаяние, женственность. «Она все так же неотразима. И даже лучше! — с тоской подумал он, начиная обостренно сознавать, какую понес потерю. — Что я наделал? Да за ней надо было лететь в Сибирь, на Камчатку, к черту на рога! — ругал он себя. — Найти, кинуться в ноги, удавом лечь на порог, все в себе сломать — весь гонор, всю гордость... Украсть, наконец! Нет, она этого стоит!»

Дина принесла кофе: ему в фарфоровой чашке, себе в стакане. Кофе был очень сладкий, и когда Крайнов просто так, в разговоре, заметил это, она сказала, извиняясь:

— Я люблю сладкое.

— Оттого, что сама сладкая? Или сладкая жизнь? — пошутил он беспечно, только ради того, чтобы поиграть словами.

— И сладкую жизнь... — погрустнела она. — Так-то жизнь совсем несладкая.

Крайнов уловил ее изменившийся тон, с искренним участием спросил:

— Почему ты так говоришь, Дина? Ты, правда, несчастлива?

— Нет, отчего же? — судорожно пожала она плечами, и цветастая цыганская шаль сползла, обнажив высокую шею. — У меня заботливый муж, растут отличные парни. В общем, по общепринятым понятиям, все нормально.

Они допили кофе, и Дина спохватилась:

— Ты знаешь, мне еще на завтра чакану для печи, воды принести надо. Поможешь?

Он согласился с удовольствием и, несмотря на протесты ее матери, взяв в руку ведра, отправился за водой, к Волге. Когда возвращался с полными ведрами, стараясь не расплескать их, его обогнали в заулке, у солтенья — камышового навеса на жидких столбиках — два пацаненка, одетых совершенно одинаково: в пальто с капюшончиками, синие штанишки и черные валенки. Они обежали незнакомого дядьку стороной по снегу, оглядываясь с настороженным любопытством.

— Привет, орлы! — улыбаясь, кивнул им Крайнов.

«Орлы», толкая друг друга, прибавили ходу и торопливо затопали в сени. Он вошел в дом, когда они, еще не успев скинуть одежду, обступили мать и что-то наперебой рассказывали ей. Увидев на пороге чужого, ребятишки разом смолкли, разинули рты и вцепились ручонками в подол матери.

— Тебя, Андрей, испугались, — улыбалась Дина. — Котька, Алешка, ну чего вы? Познакомьтесь с дядей, — легонько подталкивала она их к гостю, но ребятишки упирались, норовили совсем спрятаться за нее. — Эх вы, нелюдимые! Вот и раздевайтесь сами, раз такие бояки, — с напускной строгостью сказала им мать.

Крайнов ожидал, что пацаны начнут сейчас хныкать, но они не захныкали, лишь насупились и, с опаской поглядывая на него, стали расстегивать пуговицы, снимать пальтишки. Он пронес воду на кухню, спросил Дину:

— Готово. Что еще?

— Все. Чакану я принесла, — кивнула она на кучу рубленого тростника, сваленного у печи. — Ты раздевайся, мне теперь ребят кормить надо.

Он снова сидел в комнате, разглядывая фотографии, и слышал в доме несмелые голоса ребятишек, разговор Дины с матерью на кухне. Невольно прислушиваясь, не мог разобрать слов, но по тону старухи уловил ее недовольство. «Из-за меня, — подумал

он. — Ставлю ее в дурацкое положение. Зачем? Надо уходить. Повидался, и будет». Но уйти самому было выше его сил. Он мучался, не зная, что делать. От мук отвлекли ребятишки. Все так же с опаской поглядывая на гостя, они появились в дверном проеме. Крайнов снова попытался заговорить, не получилось, только спугнул ребят. И все же детское любопытство влекло их в комнату: исчезнув на минуту, их темные головки показались вновь. Тогда он подался на хитрость, решив показать, что совсем не обращает на них внимания, а сам украдкой разглядывал Дининых детей. Близнецы были как две капли воды похожи: темные, но светлее материных, волосы, черные угольки глаз и носики пробочками.

— Симпатяги у тебя ребята, — сказал Крайнов появившейся в комнате Дине. — Но они совсем не тебя не похожи. Вроде все черты твои, а не похожи. И вообще, как ты их узнаешь? Который Лешка, который Котька?

— Очень просто. Этот Леша, а этот Котя. — Она ласково повернула к нему ребячьи головы. — С первых дней узнаю и не ошиблась ни разу. Правда, сперва по родинке различала — у Леши родинка на плече...

— Как у тебя? — вроде бы в шутку спросил он, вспомнив, что кто-то из пошляков рассказывал об этой родинке.

— А откуда ты знаешь? — вскинула она удивленные глаза.

— Я все о тебе знаю, — грустно улыбаясь, ответил он, а сам напрягал память и никак не мог вспомнить точно, где же и от кого именно он слышал про ее родинку.

— Опять биотоки подсказывают? — шутливо спросила она.

— Нет, биотоки подсказывают, что ты должна побыстрее накормить ребят, — с намеком на что-то сказал он.

— Ребят мама накормит. Мы уже договорились. А мне надо на почту сходить. Переговоры с мужем заказаны. Ты проводишь?

— Конечно. Эту странную миссию я выполняю с удовольствием, — хотел сказать он наигранно, а получилось со вздохом.

— Тогда я переоденусь. Подожди, это недолго, — сказала она, словно не заметив его вздоха.

Спустя минут пять Дина вышла одетая в черную водолазку, стянутую по низу узким горлом длинной юбки. Крайнов, оглядев ее еще раз, отметил, что и фигура Дины совсем не изменилась, осталась почти девчоночьей. Женщина накинула на плечи свою цыганскую шаль, надела песцовую шапку с красным верхом и красное же пальто, и Крайнов опять вспомнил, что ей и прежде очень шел этот цвет; теперь же он как-то по-особенному подчеркивал ее красоту, делал ее более яркой, броской. Расставаясь с ребятами, Дина заботливо, словно бы между прочим, опра-

вила на них свитерки, поцеловала сыновей в бархатные упругие щечки, и Крайнов заметил в ее движениях, во всем отношении между ней и детьми удивительный лад — никаких капризов, никаких окриков.

— Ты, видно, очень хорошая мать, — сказал он уже на улице.

— А ты — хороший отец? — повернула она лицо в его сторону. — Кстати, у тебя есть дети?

— Нет, они не входят в программу этой пятилетки, — с напускной иронией, по привычке, как отвечал всегда на подобный вопрос, ответил он и вдруг впервые за все время командировки вспомнил о беременной, оставшейся в Москве, жене, вспомнил, но ничего не сказал об этом.

Оказавшись на улице наедине с Диной, Крайнов стал откровеннее. Он почувствовал себя юным парнишкой, ее увидел юной девушкой и стал изливать свои чувства к ней, как изливал когда-то давно. Может, он немножко скрашивал их, в чем-то заострял, но это лишь от желания быть перед ней открытее, искреннее. Он понимал, что все это — вся его исповедь, все, что он говорит и делает сейчас, — страшно глупо, что мосты назад, в прошлое, давно сожжены, ничего уже не склеишь и не поправишь, не повернешь вспять, не поймаешь свое упорхнувшее счастье. Но это не останавливало желания выговориться перед любимой до конца, до предела, а выговариваясь, он чувствовал себя еще более одиноким, несчастным, обманутым судьбой. «Судьбой ли? — с горьким раскаянием думал он. — Я сам себя обманул. Ведь пальцем о палец не ударил, чтобы найти, вернуть тебя. Возомнил себя Великим Писателем! Посчитал, что ты ничего не дашь мне на избранном пути, будешь только обузой. Нужна была другая женщина, на которую я мог бы опереться, которая что-то дала бы мне... Хотя бы ту же Москву, прочность в быте... Галя? Она свое отдала... И не только быт, прописку устроила. Я получил от нее нечто большее, какой-то интеллект, культуру... Но теперь она уже исчерпана, до дна выпита. Мне просто нечего больше от нее взять, нечего вспомнить. А тут...»

— Представляешь, — увлеченно говорил он, — будто ночью идешь, идешь, все темь, темь, темь, и вдруг... Освещенное окно! И ты в нем. Стоишь перед зеркалом, волосы после бани расчесываешь...

— Ты подглядывал в окна? — удивилась Дина.

— Да нет же! — рассмеялся он. — Я просто вспоминал и представлял все это. Вспоминал, как ты выходила ко мне, свежая, пахучая после бани, и все боялась простыть на ветру, а я не отпускал тебя. Помнишь, еще моряна с мелким мокрым снегом тогда дула и мы прятались от нее за солтеном?

Крайнов вспоминал множество подробностей прежних встреч с Диной и удивлялся, что сама она почти ничего уже не помнила или не хотела помнить.

— Ну как же, как же! — горячился он. — Вот здесь же с меня кепку ветром сдуло, погнало к обрыву и унесло в Волгу. Помнишь, какой сильный ветер был? Ставни еще у многих пообрывало... Ты сперва все жалела кепку, а потом смеяться стала... Бесшляпчиком еще называла.

— Нет, не помню, — качала головой она.

Они дошли до почты, и вдруг Дина сказала:

— А знаешь, не буду я звонить никуда. Давай просто погуляем.

Крайнову бы обрадоваться такому повороту дела, а он в нерешительности, чувствуя себя словно виновным перед ее мужем, перед ней, замялся:

— Ну... как же?... Ждут твоего звонка, а ты не позвонишь...

Дина чуть помолчала и согласилась:

— Хорошо. Позвоню, раз ты настаиваешь.

Когда телефонистка соединилась с Ригой и Дина скрылась в кабине, Крайнов отошел в сторону, чтобы не слышать ее разговора. Но некоторые слова и фразы до него все же долетели, и он, узнав, что ее мужа зовут Пашей, с неприязнью подумал об этом имени, обругал себя «мямлей» за свою запоздалую совестливость и нерешительность — могло бы и не быть этого разговора, сам настоял.

Они пробыли на почте с полчаса. За это время поднялся ветер и разгулялась метель с мелким колючим снегом.

— С погодой нам опять не везет. Смотри, какой шурган занялся, — вздохнул от досады Крайнов, и тут же его осенило: — Слушай, а может махнем в «Реченьку»? Здесь кафе новое открылось, довольно приличное, до десяти вечера работает. У тебя есть время?

— Мне неудобно... Да и народу там, наверное, тьма, — неопределенно пожала плечами Дина.

— Какая тьма! Сегодня же не пятница, не суббота. Я как-то летом был в этой «Реченьке». Там вполне уютно и тихо. Пошли?

— Только ненадолго. Ладно? А то мне в десять ребят укладывать надо.

— О, у нас еще почти три часа, — обрадовался он.

Миновав несколько пустынных улиц, они вышли к кирпичной коробке кафе. По краю шиферной крыши светились неоновые буквы, как видно, часть из них свое отгорела и получилось другое название — «Ре...нька».

— Шли в «Реченьку», попали в «Реньку», а выйдем, наверное, из «Реки», — посмеялся Крайнов, и Дина поддержала его смех.

Почти все столики в зале пустовали. Он усадил Дину за один, поближе к теплу, к батарее парового отопления, скрытой деревянной решеткой, сам заторопился к буфету.

— Андрей, я пить не буду. Посижу за компанию. Ну если только чаю, — остановила его Дина.

— Одну граммалечку, Дин! Коньячку, для согрева, — с мольбой в голосе сказал он.

— Неудобно, Андрей... Можно я так?

— Ты хочешь меня обидеть?

— Ну хорошо. Двадцать граммов, не больше, — согласилась она.

Ему хотелось сделать Дине щедрое угощение, но выбор в буфете был так беден, что удивить женщину было попросту нечем. Не нашлось даже хороших конфет.

— Эх, дворец отгрохали, а как сельпом были, так сельпом и остались, — в сердцах выговорил он буфетчице.

Но та, ему на удивление, не стала пререкаться, выслушала его со вниманием. Это немного успокоило Крайнова. Он взял каких-то фруктовых карамелек, вафель, две рюмки коньяку, заказал кофе погорячее.

Дина пила коньяк маленькими глотками, только, казалось, пригубляла, а он, опрокинув рюмку в один прием, почувствовал внутри приятное тепло и уверенность в себе, повернулся лицом к женщине, спиной к залу, смотрел на нее и снова не мог наглядеться.

— Не гляди на меня так, Андрей! — попросила она. — Ты можешь не привлекать к нам внимания?

— Нет, не могу, — прикрыв глаза, замотал он головой и обнял ее плечи. — Я люблю тебя, Динка!

— Но люди же, Андрей! — взмолилась она.

— А что нам люди? Нас здесь никто не помнит. Хочешь, я встану и крикну, что снова встретил тебя, свою любовь?

— Ты что! — Она даже приподнялась, испугавшись. — Сумасшедший?

— Всем же будет страшно завидно моему счастью. Ты знаешь, вот сижу и затылком чувствую, как они проходят и смотрят на тебя.

Он действительно не только слышал и краем глаза видел, как в зале появлялись посетители; в основном это были молодые ребята, забежавшие попить пивка или хлобыстнуть портвейну. Он чувствовал, что каждый, проходя мимо, вольно или невольно бросал на Дину взгляд, и ему льстило это, было приятно сидеть рядом с такой женщиной. Даже хотелось, чтобы кто-нибудь привязался сейчас — встать и защитить ее; не пришлось сполна показать себя в юности, так хоть теперь наверстать упущенное. Он сознавал, что все это глупости, детский лепет, но что-то подтачивало его изнутри, что-то накопилось в нем и просило выхода, разрядки. Но выхода так и не представилось: пьяных в зале не появлялось, а ребята были, видно, незадиристые и слишком молодые.

В кафе они засиделись до крайнего срока. Воспоминания, казалось, снова захлестнули их, но нет-нет да и перескакивал разговор на сегодняшнюю жизнь. Сначала, видно из малости отпущенного им времени, Крайнову не было дела до ее мужа, но потом он заинтересовался им. Он понял, что знать сегодняш-

нюю Дину нельзя, не зная ее мужа, их взаимоотношений, их семьи, и поэтому его интересовало теперь все, что хоть как-то касалось ее.

— Тебе не страшны эти постоянные его полеты, прыжки? Ведь каждый раз риск, игра с судьбой... И, наверное, кто-то не возвращается?

— Первое время боялась: как уйдет из дому — сама не своя. Теперь привыкла. Уходит как на работу. Только потом сутки вымотанный и не подойди к нему, не тронь.

— А быт, жилье? Эти постоянные переезды должны, наверное, страшно угнетать?

— Конечно. Мы уже четыре места сменили. Хотелось бы подольше задержаться в Риге, у нас там квартира хорошая, и город хороший, мне очень нравится. Но что поделаешь, если скоро пошлют в другое место — я понимала, на что шла.

— По любви шла? — мимоходом спросил Крайнов.

— Не знаю. Просто нравился.

— А сегодня? Ты чувствуешь с ним единение, откровение, что ли?..

— Хм, пожалуй, нет. Живем, и все. Как все живут, средненько. Мне мама как-то говорила, что с мужем надо знать предел откровенности. Я и держусь ее совета. Вот друг у меня есть, с тем иное дело, с ним я говорю обо всем.

— А со мной?

— Не знаю, — пожала она плечами. — Я как-то еще не привыкну к тебе, побаиваюсь...

— Я такой страшный стал? — пошутил Крайнов.

— Вовсе нет. Сейчас ты мне даже больше нравишься. Ты похорошел, стал солидный, мужественный, много всего знаешь...

— И ты бы ушла сейчас ко мне? — Он вдруг напрямую задал вопрос, все время мучивший его.

— Ты думаешь это возможно, с двумя-то детьми? — вопросом же ответила она. — И сам ты никогда не пойдешь на это. Презы юности, Андрюша, всего лишь грезы...

— Пожалуй, ты права, — посидев немного в молчании, согласился он. — Но вовсе не из-за детей, не из-за возможной потери нынешних благ. Я ведь не просто так спросил, неспроста — думал над таким вариантом. Знаешь, я другого боюсь. Боюсь быта, каждодневной серости. Честное слово, я по любви женился. Но где все это теперь? Где она — любовь-то? Полное равнодушие. За год-полтора притерлись так, что уж какая тут любовь, зачастую смотреть друг на друга не можем... А ты вот осталась... как свет какой, как лучшее воспоминание из всего, что было... Но стань ты вдруг моей женой... не смейся, не смейся!.. Ну, если вдруг... И вдруг мы не сумеем породниться... душами. Понимаешь? Будет крах, пустота... И ничего — ни впереди, ни в прошлом. Никакого тепла. А так мы встретимся и расстанемся... Мне этой встречи надолго хватит. Я буду знать, что есть

где-то на земле ты, и если очень захотеть, то снова можно тебя увидеть, прийти к тебе со своей болью и станет легче.

— Вот видишь, Андрюшенька, все и разрешилось, — с грустью сказала Дина. — Ты сам сейчас доказал, что я нужна тебе только как прошлое...

Он не стал возражать, лишь виновато потупил взгляд и подумал, что не то, совсем не то хотелось сказать Дине.

В одиннадцатом часу ночи они были около ее дома. В окнах еще горел свет.

— Будем прощаться? Видишь, меня ждут, — сказала Дина.

Крайнов почувствовал, что расстается с ней очень надолго, может навсегда, и ему вдруг нестерпимо захотелось поцеловать, еще раз вспомнить прежнюю Дину. Неловко замявшись, он попросил:

— Я поцелую тебя...

— Ну что ты? Зачем? Глупости все это, — почти равнодушно ответила она на его просьбу.

Безразличие ее голоса Крайнов понял как согласие, обнял Дину и сразу поймал ее губы. Она не противилась, но и не отвечала на его поцелуй, который был Крайнову так сладок, что он будто пил, наслаждался им. Он узнал его по мягким губам, по маленькой неровности переднего зуба, узнал, как все узнавал в Дине. И снова опьянили его воспоминания, ему захотелось долго-долго, как когда-то, целоваться с ней. Только с ней он мог так целоваться, почти не разрывая губ. Но в этот раз Дина как-то легко и просто отняла свое лицо. Крайнов задел носом ее прохладную сережку, вдохнул запах волос, и снова его поразила глубина памяти. Он знал этот запах, чистый, без всяких духов и косметики, теплый запах ее волос. Он все время жил в нем и никогда не напоминал о себе, хотя порой Крайнов и желал представить его, почувствовать; Динин запах молчал, не встречался больше ни у кого, потому что каждая женщина пахнет неповторимо, и даже одинаковые духи не могут обмануть — это Крайнов не раз замечал на собственном опыте, но только теперь в нем оформилось такое наблюдение в четкую мысль. Ему снова стало тоскливо оттого, что вот уйдет сейчас Дина и он опять потеряет, не сможет вспомнить ее запаха, а главное, потеряет ее саму — самую первую, самую дорогую, — потеряет навсегда и вновь останется один. Один не в том смысле, что не будет у него ни друзей, ни подруг. Нет! Один — без близкого, понимающего друга. Только Дина с ее мягким, всепрощающим характером «могла быть спутницей поэта». Только она могла бы сочувственно принять его поражения и неудачи, согреть теплым словом, приласкать нежной рукой, поддержать в трудном писательском подвиге. И вот Дина потеряна, потеряна теперь уже навсегда! Он ясно осознал свое и ее положение, из которого в будущее им уже не было пути, и содрогнулся от отчаяния.

— Любимая... — задыхаясь теплым дурманом ее волос, прошептал Крайнов спекшимися губами. — Любимая моя...

Дина чуть шелохнулась и ничем не ответила, но домой она уже не стала торопиться, и некоторое время они простояли так у калитки, без слов, в полуобъятии.

— Пора мне, Андрей. Я птица не вольная... — шевельнула она плечами. — Хочешь, приходи завтра, тебе же не уезжать еще.

Он заволновался, полез в карман за сигаретами, но нащупал конфеты, захваченные в кафе для детей, вытащил горсть:

— Возьми, ты же хотела отнести ребятам... Я приду, я обязательно приду. Пока, Дина. До встречи.

Удаляясь по узкому заулку, она таяла в темени. Крайнова шатало, как пьяного. В груди нестерпимо щемило. Словно побитый, с поникшими плечами, он поплелся прочь от калитки, от ее дома, от всего прошлого и настоящего, а может и будущего. Ему хотелось рыдать, не плакать, нет — рыдать в голос, в крик. Он не замечал, как навстречу попадались редкие прохожие, не видел, куда идет, но почему-то ноги сами привели его к редакции. Он вдруг резко остановился, будто напоролся грудью на невидимый барьер, и стал соображать: где он, приходить в себя.

— Дина, Ирина, — пробормотал он. — Сон какой-то... Наваждение! Да нет, не сон! Все ведь действительно было. Была Дина! Вот только что, только что была... Подлец я, подлец... Вообразил себя гением... Растоптал человека... «Страдания рожают творчество!» Чьи страдания?.. Чужие! Достоевщина! — это прозвучало, как ругательство.

Крайнов остановился. На рыбзаводе сипловато завыл гудок. Оттуда налетел тугой холодный ветер, пахнул в лицо прогорклым рыбьим жиром, рогожами, тузлуком. В округе не было ни души, лишь снежная поземка лихорадочно плясала под ногами.

4

Раскурив сигарету, Крайнов лихорадочно думал: «Идти или не ходить к Ирине? Она ждет. Давно, с шести часов. А сейчас уже одиннадцать», — посмотрел он на часы.

— Черт возьми, я даже не вспомнил о ней за весь вечер! — вслух выругался он, и ему стало совестно.

«Как я пойду к ней? Это же подлость, подлость к ним обеим. Мне самому должно быть пакостно. Нет, нет! Домой!» Но ему было очень тяжело, комок в горле давил все сильнее, боль в груди, щемящая, тягостная, не давала глубоко вдохнуть. Он чувствовал, что, если сейчас никто не заговорит с ним, никто не остановит, не облегчит его душу, он сделает что-то страшное. Что именно — Крайнов еще не соображал, но немного проясненным сознанием чувство-

вал себя на грани: еще шаг, еще одна капля — и назад колесо не повернешь, мир для него расколется и сгорит. Еще теплившийся в нем инстинкт самосохранения поднял его на крыльцо, провел коридором к двери Ирины.

— Ирина, мне плохо, — войдя в комнату, не поздоровавшись и не поцеловав ее, как обычно, сказал он. — Мне очень, очень плохо...

— Что с тобой, Андрей? Почему так поздно? Что стряслось? — кинулась ему на шею Ирина, но он на лету поймал ее руки и развел в стороны.

— Не надо, Ирина. Оставь меня, — устало мотнул он головой. — У тебя есть что-нибудь выпить? Мне нужно напиться в стельку...

Она недоуменно посмотрела на него, заметила, что он будто бы постарел лицом, сгорбился и в глазах его стыла настоящая глубокая боль, неподдельное страдание.

— Есть вино, сухое...

— Нет, чего-нибудь крепкого. Ты ж говорила, была водка, — перебил он.

— Могу дать водки... Но что с тобой? Объясни наконец!

— Подожди, Ирина, сейчас... — Он положил ей на плечи руки и то ли от ее тепла, то ли от участливых ласковых глаз почувствовал себя немного легче. — Ты не сердись, моя маленькая, все это пройдет.

Ирина стала накрывать стол, спросила:

— Бульону поешь? Я свежий сварила.

Он отрицательно покачал головой, сорвал с горлышка бутылки золотистую пробку и выпил с полстакана. Больше не пошло. Водка стояла в шкафу и потому была теплая, противная. Он зажевал ее килькой в томатном соусе и хлебом. Хотел допить оставшееся в стакане, но сделал всего глоток и поперхнулся.

— Фу, черт! — выругался он. — Даже напиться как человек не могу.

— Ну какой же ты человек! Ты прямо, как алкоголик: один среди ночи хочешь напиться, — ласково упрекнула Ирина. — Объясни же, что происходит?

— А ты поймешь меня? — прямо спросил он.

— Надеюсь, пойму. Ведь понимала до этого.

— То до этого, а то теперь...

— Ну как знаешь... — Ирина не рассердилась на него, не надула губ, она просто замолчала, молча закончила разогревать ужин и накрывать на стол.

Ее молчание действовало на Крайнова тягостно, он еще острее чувствовал свою вину перед самим собой, перед этими, близкими и дорогими ему, женщинами: Диной, Ириной, женой. Особенно перед Ириной. Он понимал, что единственный человек, которому можно все рассказать, во всем признаться, была она; знал, что нужно сломать в себе что-то, быть откровенным с Ириной и после такого разговора ему обязательно полечает. И все-таки боязнь быть не понятым даже ею или не совсем понятым

сдерживала его, не давала сбросить с души все время давивший груз. Его пугала возможность перемены отношения Ирины к нему. «Тогда совсем один... один...» — стучало у него в висках, и появлялась злость на себя, обида на Дину, нетерпимость к Ирине. Чем дольше он молчал, тем больше горьких чувств скапливалось в его душе, и вот-вот мог произойти взрыв истерики. Ирина то ли уловила его состояние, то ли ей стало просто жаль Крайнова, то ли подалась на маленькую женскую хитрость: она подошла к нему сзади, обвила легкими руками его шею и прошептала на ухо:

— Ну что с тобой, милый? Успокойся...

Ее нежность не успокоила Крайнова, а будто масла в огонь подлила, и переполненная чаша его терпения опрокинулась. Он скрипнул зубами, вскочил со стула, метнулся в другой угол комнаты, но сдержать слез все же не смог. Они продавили комок в горле, застили глаза. Крайнову было стыдно своей слабости и сладко от нее. Что-то в нем рвалось, что-то отпускало, таяло. Не выходя из своего угла, он сбивчиво начал ей рассказывать о том, что случилось сегодня. Подумал вдруг, что лучше не говорить Ирине о другой женщине, пусть первой и давней, но сил сдержать себя уже не было. Он говорил, не называя имени Дины, какая она красивая и добрая, как сильно он был болен ею, как потерял ее ради писательской славы, что стало с ней теперь. Рассказывал и немножко скрашивал, делал Дину лучше, чем была и есть на самом деле, и клялся, что встретился с ней не намеренно, что ехал только к Ирине, но теперь и сам не поймет, что с ним, кто в его сердце.

— Ты правильно сделал, что пришел ко мне, — спокойно сказала Ирина, когда он вышел из угла с покрасневшими глазами и мятым лицом. — И за рассказ, за откровение спасибо. Но скажи честно: ты по любви женился?

Крайнову пришлось во второй за сегодня раз ответить на этот вопрос.

— Ты говоришь неправду, я не верю, — она начала горячиться. — Или же ты просто сам себя терзаешь. Тебе доставляет удовольствие помучаться, пострадать, вынести свою обиду или и впрямь беду — не знаю что — на люди. Мазохизм какой-то!

— Ну зачем ты так, Ирина? — взмолился он.

— Нет, слушай! — Голос ее зазвучал четко и страстно, Крайнов даже подивился его силе. — Как же ты мог тогда так легко отказаться от своего счастья? Как мог все это время жить с другой? Да надо было бросить все — бежать, догонять, искать! Голову вдребезги — а взять свое!

— Если б я знал тогда... — вздохнул Крайнов. — Но теперь-то что мне делать? Теперь!.. — почти вскричал он.

Ирина не отвечала, взволнованно меряла шагами комнату.

— Я понимаю, не нужно было ничего тебе рассказывать, все-таки ты прежде всего остаешься женщиной, — снова поникнув, проговорил он. — Только больно делаю... и себе, и тебе. Но мы же договорились, что будем откровенны всегда и во всем...

Еще несколько секунд длилось молчание, мягко постукивали по полу подошвы ее тапочек.

— Зря ты так думаешь, я не сержусь на тебя, — наконец сказала Ирина. — Но, правда, не ожидала, что будет немножечко больно. Баба я, баба — клюнул петух и взревновала. Но уже все прошло. Почти все. — Она с трудом проглотила слюну, будто большой глоток сделала, и Крайнов заметил, что голос ее снова изменился, как бы помягчел. — Я даже не буду удерживать, если ты пойдешь к ней и завтра. Иди, я все понимаю и не смею тебя привязывать. Никаких упреков не будет. Можешь даже привести ее сюда, если желаешь, а я уйду к знакомой. Как скажешь...

— Зачем вести сюда? — сперва не понял Крайнов, но тут же сообразил, на что намекает Ирина, и усмехнулся: — Ты хочешь бросить меня между двух огней и посмотреть: сгорю ли? Забавно...

— Даже не думала никуда бросать. Ты сам себя и так уже между трех огней бросил.

— Почему трех? Ах, да! — вспомнил Крайнов про жену. — Если ты о жене, то ошибаешься — там давно уже нет огня. Пепел, Ириночка, пепел... Сухие, погасшие угли... Я даже ни разу не вспомнил о ней за все это время.

— А обо мне вспомнил? — усмехнулась она. — Только честно.

— И о тебе не вспомнил. Ни о ком.

— Так как же ты здесь оказался?

— Сам не знаю. Это, видно, тот случай, когда «ноги сами его привели».

— Значит, ноги помнили, а ты нет?

— Выходит, так.

— Да-а-а, — печально и со значением проговорила она.

Крайнову снова стало совестно перед ней, жаль ее. Он подошел к ней, несильно обнял.

— Я мучился, Ирина, когда поднимался к тебе на крыльцо, шел по коридору. Правда, мучился. Совесть прямо заела, словно самую подлую подлость совершил. Но, пойми, не мог я иначе. Ну захотелось мне побывать в юности, до чертиков захотелось. Называй это изменой, предательством — не знаю как, — но, наверное, если бы я даже знал, что потеряю там все — мать, семью, тебя, свою голову, все равно бы пошел.

— Столь велика ставка... И ради чего? Чтобы только потерзать себя? Право, тебе стоит воспользоваться моим советом — испить чашу до дна. Нужно, в конце концов, поставить точки над «и» и успокоиться.

— Ты страшная реалистка, Ирэн. Даже больше циник, чем я, — усмехнулся Крайнов. — А может, я

не хочу ставить никаких точек, может, вечного продолжения хочу?..

— Хм, вечным может остаться только то, к чему не возвращаются. Ты перешагнул грань, поднял завесу недосказанного. Теперь ты будешь смотреть на все другими глазами. Еще денек потерзаешь себя, и все пройдет, Андрюшенька. Если же правда, что ты так сильно любил эту женщину, то считай, что потерял ее не тогда, мальчиком, сейчас потерял. Вот попомни мои слова — больше мук она тебе никогда не доставит. Так что испей свою чашу до дна и с сознанием выполненного долга забудь, — развела она руками.

Крайнов задумался. Он представил, как приведет сюда, будто в гости, Дину, но в голове не укладывалось, как будет знакомить женщин. Такая ситуация показалась ему кошунством над Диной, над своей первой любовью, и он отбросил ее с отвращением.

— Нет, черт-те что ты предлагаешь! Как я буду вести себя с вами?

— Очень просто. Я застелю диван свежей простынкой, оставлю вас одних — и все свершится.

— Нет, нет, не могу.

— Зря, жизнь посылает тебе жирнейший кусок впечатлений, можно сказать — сгусток жизни, а ты малодушничает, упускаешь завидную возможность отведать его. Больше такого не повторится. Ты еще пожалеешь, что не воспользовался случаем, упустил его из-за глупой боязни чего-то. Это же острейший сюжет, Андрюша, он здорово впишется потом в твою повесть. Ведь такого, как ни думай, не придумаешь. Право, мне самой захотелось побывать на твоём месте. Ну чего ты боишься?

— Пустоты, Ирэн. Понимаешь, пустоты? Пусть это лучше останется тайной, непостигнутой тайной моей юности...

— Какая же тут тайна, если есть муж и даже дети? Не понимаю... Ты выдумываешь ее, в жизни все гораздо проще.

— Пусть так: для тебя проще, для кого-то — нет тайны. Но мое останется со мной. Со мной! Навсегда! Если же то, что ты предлагаешь, произойдет, она может стать для меня обыкновенной женщиной, как...

— Как я? — подсказала Ирина.

— Нет, не как ты. Ты редкая женщина. Ты близка мне не только и не столько физически, сколько душой, пониманием. Не знаю, зачем ты сейчас ерничаешь, ведь понимаешь же все... С нею у нас, наверное, так никогда не получится. Да что там — наверное! Точно — не получится. Мы очень разные люди. Разные были еще тогда, теперь между нами настоящая пропасть. Единственное, перед чем бы я мог преклоняться — ее красота. Но смогу ли всегда довольствоваться лишь этим? Вряд ли... Наверное, я уже миновал тот возраст, когда хотят иметь только хорошенькую женщину и закрывают глаза на все

остальное: на ум, на душу... Мне одной красоты мало, мне нужно родство с женщиной, духовное родство и понимание. Все остальное так, приложение.

— Выходит, ты смог бы жить со страхолюдиной, только бы она понимала тебя, ублажала? — заинтересованно, но с заметной издевочкой спросила Ирина. — Со старой развалиной, например?

— Хм, какую ахинею ты порешь! Внешние симпатии не исключаются. Без них ничего не выйдет. Это первый позыв к духовному сближению. Но только позыв. В тебе я нашел и то и другое.

— И так легко променял, — натянуто улыбнулась Ирина.

— Почему променял? — удивился Крайнов. — Я просто честен с тобой до конца и ничего от тебя не скрываю. Тебе не нравится такая правда? Извини, ты уже перестала понимать меня?

— Нет, почему же... Понимаю. Только и ты меня пойми. Я прежде всего женщина, Андрюша. Обыкновенная баба... И мне, признаться, не очень хочется делить тебя с кем-то, ни с первой, ни с последней. Я и так делю тебя, а тут выходит, что от своей половинки должна еще часть оторвать, отдать неизвестно кому.

— Но ты же сама только что настаивала, чтобы я «испил чашу до дна». Твои слова? Ничего не понимаю!

— И не поймешь никогда. Вы, мужики, простейшие организмы, а мы — организмы сложные. Истина, давно доказанная мировой литературой, — ты должен знать это. Теперь наука доказывает то же самое.

— Что ж, спасибо, — с нарочитой обиженностью в голосе сказал Крайнов. — Остается лишь прямо назвать меня инфузорией или амебой и выдать мне о сем соответствующий ярлык.

— Не будем называть ни амебой, ни инфузорией. Давай вообще не будем больше об этом, — примиряюще улыбнулась Ирина. — Ну было у тебя что-то и было. Было и прошло, былем поросло. И не сыпь больше соль на рану, не заставляй меня сыпать. Хорошо? Договорились? Давай лучше отдышаться.

— Бай-бай?

— Бай-бай.

Из приемника тихо лилась эстрадная музыка. Крайнов лежал рядом с Ириной, видел перед собой ее словно выточенное из слоновой кости, лицо с раскосым разрезом глаз, ласкал и целовал ее маленькое покорное тело, а из головы, против его воли, не выходила Дина. Он забывался и называл Ирину ее именем и чувствовал, как она чуть вздрагивала от этого; шептал ей на ухо ласковые слова прощения, хотел отвлечься пустыми и непустыми разговорами, посторонними мыслями, всеми силами старался вытеснить из памяти Дину, но у него ничего не получалось. А тут еще музыка сменилась песенным концертом.

«Откуда ты?» — недоуменно спрашивал Лев Лещенко Валентину Толкунову, и та с проникновенной грустью отвечала:

«А я из той весны, где мы любовь с тобою потеряли...»

Измученная всем пережитым за день душа Крайнова с болью впитывала слова песни, и они, слышанные не раз и обычно воспринимаемые им очень просто, без всяких чувств, вдруг показались ему не диалогом известных певцов из популярной песни, а его собственным разговором с Диной, высказанным стихами и положенным на музыку. Он переживал его снова и снова, как наяву, потеря юности становилась будто сегодняшней потерей, и вновь в душе Крайнова росла тоска, чуть приглушенная было Ириной, ему становилось так худо, хоть вешайся. К его груди прижималось теплое острое плечо Ирины. Она уже спала, он слышал едва заметное, ровное ее дыхание, а сам думал о другой — о Дине. Он так и уснул, как наяву, видя перед собой ее лицо, ее глаза с печалинкой, ее рот, очерченный дугой-морщинкой, видя сегодняшнюю Дину. А потом, вернее уже под утро, она приснилась ему.

Крайнов проснулся с ощущением, что будто бы только что целовал Дину. Показалось, что на губах еще оставался даже вкус поцелуя и воздух хранил теплый запах ее волос. Ему захотелось снова вернуться в это сладкое состояние небытия, он опять закрыл глаза и долго не открывал их, пытаясь заснуть, но сон больше не приходил. Крайнов потянулся к стоящему рядом стулу, достал из пачки сигарету, закурил. В комнате было прохладно и серо от жидкого утреннего света. Ирина уже ушла на работу, рядом лежала подушка, сохранившая вмятину от ее головы, край одеяла был заботливо подоткнут ему под бок. Крайнов положил ладонь на подушку Ирины, но в ней уже не осталось тепла. Он стал вспоминать свой только что минувший сон, но, как ни напрягал память, как ни выстраивал обрывки сна в одну цепь — полного сновидения не получалось. В памяти зацепилось лишь несколько ничего не значащих слов, и остался облик, облик той Дины, что он встретил вчера — молодой женщины, сохранившей свою юную прелесть, но в чем-то не удовлетворенной жизнью. Крайнов очень четко вспомнил лицо настоящей и лицо приснившейся Дины, и его вдруг поразили ее глаза, которые он видел во сне: в них жила не просто едва заметная печалинка, они сквозили тоской, они звали его: «Ну что ж ты, любимый?..» Они будто кричали: «Помоги! Спасай меня, спасай нашу любовь!..» Ему стало не по себе. Вернулось вчерашнее состояние тупика, безысходности, но уже без той остроты отчаяния, которую пережил он, расставшись с Диной. Боль его словно бы ушла внутрь и точила его теперь оттуда, из глубины, не так пронзительно и остро, но так же беспокойно. И нечем было заглушить ее, нечем забыться.

Он провалился в постели с час, а мысли о Дине не покидали, зрели совершенно невероятные решения, как вернуть ее. Он начинал детально исследовать их, находил невыполнимыми, глупыми, обыкновенным мальчишеством, и, покончив так с одним, доказав себе всю его нереальность, принимался копать в новом, приходившем на ум, еще более невероятном и диком. «Хуже гоголевского Манилова», — укорял себя Крайнов, но переключиться на что-либо другое не мог. Спасибо Ирине. Пришла веселая, быстрая. Скинула мохнатую шапочку, тряхнула головой — рыжие волосы метнулись факелом, и Крайнов словно впервые заметил, что они у нее сильно покрашены. Ирина прижалась к нему холодной от мороза щекой, растормошила.

— Все спишь, соня. Я уже дважды слетала в типографию, две полосы сдала. Вот видишь, какой ты хороший стимулятор, как быстро с тобой я научилась лепить макеты. Теперь у меня в запасе больше часа, буду варить тебе кашу, поить чаем, сама кормиться-поиться.

Он с благодарностью, тут же забыв о ее крашенных волосах, так поразивших его, чувствуя, что только она может помочь, отвлечь от начинавших уже угнетать размышлений о Дине, целовал Ирину в холодные губы, щеки, лоб, старался быть таким же веселым. Потом они пили чай, ели прямо из банки апельсинового варенье с одной ложечки, были, как всегда, разговорчивы, вели себя друг с другом непринужденно. О вчерашнем не проскользнуло даже намек, лишь, когда Крайнов стал одеваться, собираясь сходить к родителям, Ирина спросила:

- Ты придешь сегодня?
- Конечно, моя маленькая... Постараюсь.
- Я буду ждать... Хоть до утра.

Еще раз, не скрывая благодарности, он заглянул ей в глаза, увидел в них ласку и почти собачью доверчивость, задержал на минуту взгляд и, коснувшись губами тонко подведенных тушью век, ничего больше не сказав, вышел.

5

Дома мать, как бы невзначай, спросила:

- Ты где пропадал-то, Андрюша?
- В Бакланово ездил. Хотел вернуться последним автобусом, да проканителлся, потом в ресторан мужики затащили, ну и опоздал. Пришлось в гостинице ночевать, а утром, пока то-се, пятое-десятое — до обеда и проволынил, — походя выдал он тут же испеченную легенду. — Я же говорил: не ждите, возможно, задержусь.

— В Бакланове, говоришь, ночевал... А мне давеча сказали, будто тебя вчера вечером у нас в «Реченьке» видели...

— Хм, плетут, мать, плетут... — не глядя ей в глаза, чувствуя неловкость и предательскую краску на

лице, но стараясь говорить спокойно, усмехнулся он. — Что же там еще видели? Интересно...

— Уж чего интересней... — в голосе матери слышалась неприкрытая укоризна. — С молодой женщиной будто бы, коньячок попивали. Не из наших, в Лебяжьем такой не знают. Красивая, говорят, очень...

— Ах, да! — нашелся сын. — Я же вчера знакомую журналистку здесь встретил. Из Москвы, тоже в командировке. Ну, зашли в кафе, посидели. Так это же когда еще было! Днем, сразу, как из дому ушел. Путаю что-то, мать, путают. Не верные у тебя источники информации, — с усмешкой на ходу сочинял он, хорошо понимая, что такое его вранье шито белыми нитками: все равно не сегодня-завтра слух снова дойдет до матери, уточнится время, и как бы тогда не всплыло настоящее имя «знакомой журналистки».

«Эх, мама, мама! Знала бы ты все...» — с сожалением, что не может сказать ей всю правду, подумал он. Ему не хотелось, чтобы имя Дины трепали досужие языки, чтобы знакомые бабы, глядя ей вслед, со значением переглядывались, кивали головами и перешептывались: вот, мол, батюку хоронить приехала, с двумя ребятишками на руках, а с мужиками по ресторанам валандается, коньяки с чужими мужьями распивает. Нравы Лебяжьего, несмотря на хорошую связь с городом по воде и шоссе, по дороге, постоянный приток туристов и отдыхающих, житейных выходцев из села в больших городах, оставались закостенелыми, как и двадцать—тридцать лет назад. Правда, закостенелость эта была чисто внешняя, как оболочка — видели здесь и не такое, как прогулки замужней женщины с чужим мужем в ресторан, местные жители сами выкидывали фортеля ой-ей-ей! Нарочитое осуждение нравов молодежи было как необходимая пища старушечьих разговоров — иначе о чем и судачить? Видимо, старухи так цепко и держались за свое «Вот бывало, когда мы в девушках ходили...», всеми силами защищали давно не существовавший порядок, и это переходило из поколения в поколение. Крайнов хорошо понимал нравы родного села и в общем-то не очень осуждал их. Он находил даже какую-то прелесть, колорит в стариковских сплетнях и часто сам с удовольствием выслушивал их от матери, даже подстрекал ее к пикантным подробностям: что? где? и как? Но услышь он подобное о себе, о Дине — его бы передернуло.

— Дай-то бог, чтобы путали, — печальным голосом продолжала мать. — Да ведь дыма без огня не бывает. Ты и летом, в отпуску когда был, поди знай, где шлялся. Уедешь за рыбой, а я чую — какая там рыба. Вся изведусь, бывало, пока тебя дождемся. И в кого только вы коты такие, чего вам в семье не живется?

— Кто это «вы»? — недоуменно спросил сын.

— «Кто, кто» — Иван-пехто! Ты да батька. Вот кто! Одна порода... Я с ним, как помоложе-то был, пролила слезушек. — Мать промокнула краем пе-

редника блеснувшую в глазах влагу. — Это вы, дети, ничего не видели, не знаете, а я хлебнула с ним горюшка. Больно падкий до чужих баб был, и как только шею ему мужики не свернули.

— Ну хватит, мама! — повысил сын голос, а сам вдруг смутно припомнил, что действительно еще мальчишкой не раз видел мать с заплаканными глазами, слышал родительские ссоры, но не понимал, отчего они.

— Чего «хватит-то»? — задрожал материнский голос. — Добра тебе, только добра хочу. Ну чего не живется ладно? Чего тебе еще нужно? Работа по нраву, жена хорошая... Вот полетишь за свое котовство кувыркком в одночасье, жену потеряешь... Сам же потом локти кусать будешь. Не зря же бабка Елена, мамка моя, говорила, бывало: «Близок локоток, да не укусишь».

— Эх, ничего ты, мать, не понимаешь! — в сердцах махнул он рукой, не находя слов, как объяснить ей все.

— Все понимаю, Андрюша, все. В семье у вас что-то неладно. Хотя и уверяешь, что хорошо, но я-то чую — неладно. Который год Галя гостить к нам не едет, к себе не зовет. Открытку пришлет к празднику, и все тут. И детей чего не заводите? Скоро десять лет, как вместе живете, а все для себя, вхолостую. Не дело это. Семья ребятишками крепка... Галя тоже не маленькая — тридцать лет ей, сама должна понимать: прошло время ходить не девкой — не бабой, как яловая белуга. Рожать пора.

Он хотел сказать, что беспокойство матери насчет внуков теперь напрасно, Галина беременна на пятом месяце, но подумал и сказал совсем другое:

— Дети — это сегодня слишком дорогое удовольствие. Это, мать, путы по рукам и ногам. И вдобавок пустой карман.

— Неужто мало получаете? Неужто вам не хватает? Вот, как петух, разряженный ходишь. Одна шуба полтыщи, поди, стоит.

— Круче бери, мать, — вся тысяча, — усмехнулся он.

— То-то же... А если вы уж так обедняете с ребенком, мы всегда поможем, пока силы-мочи есть, не оставим.

— Ой, мать, ни к чему ты эту волюнку затеяла, — с раздражением поморщился сын. — Ну что ты не в свои дела лезешь? Не маленькие — живем, как хотим, как нам нравится.

— Худо живете, Андрюша, худо... Жалко мне вас, вот и суюсь не в свои дела. Ты уж прости... Не сердчай... Шел бы батьке помог, чем шляться не знамо где. Сарай он перекладывать вздумал. Да и забудь разговор наш, коли не по нутру.

— Батя тоже мурыжить этим начнет, что ли? — выжидательно спросил он.

— Нет, что ты! С ним я об этом ни-ни. Начнет лаяться, мол, не тебя, его попрекаю. А что уж теперь

попрекать, жизнь, как вода, сквозь пальцы прошла. Ни любви, ни ласки... Свыклись друг с дружкой, вот вас четверых нажили.

Тоскливые разговоры матери стали снова наводить его на тягостные думы о своей невосполнимой потере, о Дине, и, чтобы не поддаться им совсем, он спешно засобиравшись помогать отцу. Скинул костюм, натянул какие-то заношенные батины брюки, надел захудалый, протертый в локтях, пиджак, телогрейку, обулся в валенки с подшитыми красной телячьей кожей задниками.

Отец стучал топором по доскам, разбирая сарай, от которого уже оставался только щелястый каркас. Сын поздоровался, как ни в чем не бывало, спросил:

— Ну чего, бать, мне делать-то?

— Да ладно, Андрюха, я и сам как-нибудь потихоньку управлюсь. Невелика работа. Чего тебе тут пачкаться? Шел бы отдохнул лучше. Свои-то дела все справил? — прищуря раскосые морщинистые глаза спросил отец, и Крайнову послышалась в его вопросе какая-то недомолвка, намек на что-то.

— Все сделал, — как можно равнодушнее ответил он. — Могу в Москву лететь, но командировка еще не истекла, так что побуду дома, погощу у вас пару-тройку деньков. Когда еще такая возможность выпадет?

— Вот и отдыхал бы, — настаивал отец. — На рыбалку сходи. На Гнилых тонях нынче лещ хорошо, говорят, берет.

— Не-е-е, бать, неохота. Знаешь же, не люблю я зимой на льду мерзнуть. Летом — другое дело, а сейчас куда в такую-то холодрыгу? Ну ее — рыбу! Кстати, куда ты убрал ее из сарая? Здесь одно барахло осталось, — кивнул он на сваленные в углу сети, весла, корыто для засолки рыбы, в котором серел запас соли-бузана.

— Вяленую на чердак отнес, а соленая в кладовке.

— В Москву я хотел взять немного. У нас вобла дефицит, сам понимаешь, — будто извиняясь, что приходится брать из родительских запасов, сказал Крайнов.

— О чем речь? Возьми сколько надо. И балыку возьми, и икры. Нам, старикам, много ль нужно — какие из нас теперь едоки? Без зубов и аппетиту нет, — вздохнул отец.

Сын взял клещи, стал выдирать из досок, что ещегодились в дело, кривые ржавые гвозди. Отец продолжал снимать с сарая обшивку. Некоторое время они работали молча. Потом старший, не глядя на младшего, ненароком, будто для того только, чтобы завести разговор, спросил:

— Ночевать-то сегодня дома будешь или опять?... — он не договорил, видимо, не найдя подходящего, необходимого слова.

Сын поморщился и с издевкой подумал: «Спроси, спроси... Я тебя сейчас тоже спрошу, где ты в молодости ночевал». Обычно он не позволял себе раз-

говаривать с отцом в грубом, неуважительном тоне, разве что когда тот бывал пьян и становился уже чересчур добродушным, сын подтрунивал над ним, но без обиды, подстрекая затянуть какую-нибудь модную в тридцатых годах песенку, а тут, после разговора с матерью, в нем затаилась обида за нее, горечь, и чувства эти ждали случая, чтобы прорваться наружу. Но отец, словно почувствовав настроение сына, не стал больше выпрашивать и повернул разговор иным боком:

— Приходил бы домой, Андрей. Мать ведь ночей не спит, беспокоится. Пожалел бы ты ее старость, ей и в молодые годы не сладко пришлось... — в голосе отца послышалась неподдельная жалость, будто раскаяние, и сам он, видно, поймав эту нотку, не договорил, замолчал.

Охота сказать отцу какую-нибудь дерзость разом пропала. Крайнов подумал, что его, должно быть, не раз брало раскаяние за распутную жизнь, но суровость характера никогда и ни перед кем, видно, не позволяла выговорить свою боль. Зная его нрав, обычно угрюмый, неразговорчивый, отходивший лишь в очень редкие минуты до скупой ласки к детям, Крайнов представил, как сейчас мучат, наверное, старика угрызения совести и одиночество, когда дочки и сын покинули родной кров, разъехались по разным городам, а он остался на старости лет вдвоем с нелюбимой женой. «Право, любил ли он мать? — задумался Крайнов. — Или у них все пошло кувырком уже потом, как у нас Галиной?» Он вдруг поймал в себе догадку, что отцу, должно быть, так же одиноко, как и ему самому, и невольно стал искать оправдание беспутной отцовской молодости, а вместе с тем и своей, и, найдя какие-то верные и понятные ему мысли об этом, еще нечеткие, как бы в несформировавшемся состоянии, уже без прежней жалости подумал о матери. Ее сетования показались теперь обыкновенным бабьим нытьем, которое он сам не раз слышал от жены, но не мог понять и принять, потому что, приняв, связал бы себя по рукам и ногам, тогда бы и шагнул без Галины не сделай: после работы сразу кати домой, ходи с ней на пошленькие постановки в театрах, выставки всяких маляров-импрессионистов, простаивай в долгих очередях за абонементом на внеконкурсные фильмы кинофестивалей, за модными дисками, с которых закричат потом в квартире дикими шальными голосами цивилизованные и нецивилизованные певцы из разномастных «АББА», «Бони-М», «Спейсов», таскайся с тюками макулатуры, как деревенский тряпичник, чтобы заполучить совсем не нужных ему «Королеву Марго», «Графиню де Монсоро» или роман про короля, губящего Францию. Нет, такая жизнь совсем его не устраивала, она сулила потери друзей-приятелей, шумного пивбара в Домжуре, неприятные увивания от авторов, приходящих с коньячком или водочкой обмыть очередной гонорар, она

могла довести и до того, что пришлось бы советовать с женой: ехать или не ехать в командировку и куда ехать, даже до того, как и что писать. Короче, пойдя он у Галины на поводу — и впереди его ожидала бы беспросветная серая скука, чего он как огня боялся и потому сразу же после свадьбы повел свою линию, на первый взгляд вроде бы и безразличную, но по сути твердую и эгоистичную — делать так, как хочю. Первое время Галина упрекала его, мол, это не семья, если муж — туда, жена — сюда, а лишь подобие семьи, видимость; но билась она с ним как рыба об лед — Крайнов делал по-своему — и вскоре сдалась окончательно, сама стала поступать так, как ей нравилось. Ему казалось, что такая жизнь пришлась ей даже по вкусу, он не расспрашивал, где и с кем она бывает вечерами, лишь когда Галина возвращалась слишком поздно, оправдываясь, что ездила в Одинцово на новый фильм Тарковского, который не пойдет на широком экране, или задержалась в гостях у школьной подруги, он чувствовал в себе вспышку ревности и давал понять, что свобода — свободой, но забывать о супружеских обязанностях не дело. Эти обязанности у них разделялись четко: ему — сходить в прачечную, купить картошки, хлеба, молочных продуктов, ей — все остальные и заботы по дому. Иногда, когда у них случалось, что уставивались душевные отношения, он сам подметал пол в квартире, сам вытирал пыль с мебели, а если Галине нездоровилось, даже стирал ее колготы вместе со своими носками. Но такие душевные дни выпадали редко, обычно же они жили каждый сам по себе, даже иронизировали — «как брат с сестрой», хотя спали все еще вместе. Главное же, из-за чего не ладилась их совместная жизнь, было то, что Галина не принимала его как писателя, говорила, мол, современному культурному читателю совсем не интересно то, о чем он пишет: коровы, лошади, собаки, пьяные мужики, одинокие старухи — «вся эта деревенщина», — ехидно замечала она. Видно, от такой жизни Крайнов и чувствовал себя одиноким, искал тепла на стороне, понимания у других женщин, нашел их в Ирине после долгих безутешных поисков и оттого, расставшись с ней, когда минул срок отпуска, так остро переживал разлуку. Наверное, все потому же его пронзала боль и от потери Дины.

Нечто подобное он уловил в отношениях родителей и, сопоставив их со своей семейной жизнью, не стал ни отца винить, ни мать защищать, нашел, что так, видно, устроены многие семьи, и не к чему лезть в их отработанный механизм, подгонять его под какие-то рамки — все должно идти само по себе, своим чередом должны приходить минуты ласки и холода, откровенности и отчуждения.

Спокойно, стараясь придать голосу твердость, словам убедительность, Крайнов заверил отца, что ничего с ним не случится, если он и задержится где-

то, заночует не дома. Не мальчик, мол, намекнул он, на что отец только качнул головой. И снова их житейский разговор пошел по иному руслу: как лучше сарай поставить, кто из соседей нынче хорошо взял рыбы, как в Москве с продуктами и прочим. Крайнову трудно было переключиться и поддерживать эти разговоры, в голову упорно лезли размышления о своей несложившейся жизни, о жене, Ирине, Дине. Порой, толком не поняв, о чем говорит отец, он невпопад отвечал, но тот по старости, видно, не замечал этого.

От сараюшки остался один остов. Стали снимать стропила — потребовалось внимание, и Крайнов несколько отвлекся от своих мыслей. Потом подгоняли под углы камни, выравнивали на них балки, ставили боковые стойки, крепили верхние перекрытия. Думать об ином, постороннем, было попросту некогда, дело увлекло и отца, и сына, требовало от них смекалки, и потому все физические и прочие силы Крайнова сами собой направились на один объект — сараюшку. Он предложил отцу, что неплохо бы поставить внутри дощатую стенку, прорубить сбоку небольшое оконце наружу, подогнать под него раму — устроить здесь летнюю комнату, чтобы в душные ночи спать было можно, и так, бывает, днем прилечь, отдохнуть в холодке. Отец согласился. Они тут же оставили проем для окна, отложили несколько досок поровнее на перегородку.

Тем временем стали сгущаться сумерки, и Крайнов, заметив это, с сожалением и растерянностью подумал, что сейчас надо будет оставить отвлекшую его работу и решиться: идти к Дине или к Ирине или вообще никуда не ходить. Он даже обрадовался, когда стало совсем темно и отец сходил в дом, протащил к сараю шнур лампы-переноски, включил свет.

— Еще пару часиков поработаем.

— Конечно, батя, — искренне поддержал отца Крайнов. — Можно и побольше прихватить. Я совсем не устал. Надо добить стройку, пока я здесь, и дело в сторону.

Они провозились у сараюшки часа три при электрическом свете. Отец, видно, уже устал и несколько раз предлагал:

— Может, хватит на сегодня? Что мы — каторжные?

Крайнов подбивал отца еще чуток времени продолжить стройку, и тот, слегка побранившись, соглашался. Лишь когда мать крикнула с крыльца:

— Вы что там, полуношники? Ужинать-то думаете? — отец всадил топор в дверную колоду, которую только что тесал:

— Все, Андрей, хватит! Всего не переделаешь.

Он стал собирать инструмент, а сын сел на порог и курил. В голову ему опять лезли все те же нерешенные вопросы. В дом идти не хотелось, в желудке прямо-таки сосало, в животе от голодухи нудно урчало — поужинав, придется умываться, одеваться и

куда-то идти. Он понимал, что все равно не усидит дома, потащится или к той, или к другой, но оттягивал и оттягивал развязку. Раздумывая, чего же все-таки ему больше хочется — спокойствия и понимания Ирины или же вновь пережить всю остроту своих чувств к Дине, так чтобы все терзалось в нем от боли и счастья, созерцать ее красоту и знать наперед, что продлить это счастье невозможно, оно пройдет и останется только боль, горечь, Крайнов находил, что сильнее тянет к Дине, но, вспоминая, что с ним творилось вчера, после встречи с ней, боялся, как бы это не повторилось, не завело его еще дальше в бездну отчаяния.

С крыльца окликнули, снова зовя к ужину. Он очнулся от этого оклика и не понял, кто же зовет: мать или отец. Встал, неохотно поплелся по тропке к дому. Поднимаясь по ступенькам крыльца, безучастно подумал: «У меня, наверное, опять идиотски тоскливые глаза, — и тут же мысленно подбодрил себя: — Не надо соплей, Андрюша! Ты хочешь опять расспросов? Не надо!» Он с усилием встрепенулся, построил на лице фальшивую мину довольства и только тогда вошел в дом.

Мать подала к ужину желтой наваристой ухи из соленой осетрины, селедку-залом, моченый арбуз, пирог-рыбник и прочей снеди, выставила для работников пол-литра водки.

— Рыбный день, — не без удовольствия отметил сын.

— У нас каждый день — рыбный. Не знаешь, что ли? У воды жить и без рыбы быть? Ешь на здоровье. Всю неделю небось не ел по-человечески в этих столовых да ресторанах, — ласково упрекнула мать.

Крайнов понял ее намек, но ничем не ответил на него, вымыл руки и сел за стол.

Мать почти не пила, лишь пригубила стопку и отставила. Отец с сыном в два с лишним приема опорожнили бутылку, и, несмотря на хорошую, плотную закуску, видимо от усталости, Крайнов захмелел. Выпитое помогло ему отбросить сомнения, сделало решительным. Покончив с ужином, он умылся до пояса, быстро собрался и, уже стоя на пороге, сказал родителям, чтобы не беспокоились, когда бы он ни вернулся.

— Ты хоть бы одну ночку дома побыл, — не сдержала упрека мать.

— Мам, ну какая тебе разница: дома или не дома? — поморщился он и вышел.

6

Он твердо решил встретиться еще раз с Диной, а там будь что будет. «В конце концов, Ирина никуда не денется, — размышлял Крайнов. — Она будет здесь и летом, в мой отпуск, а Дина уедет — и поминай как звали. Когда еще встретимся? И встретимся ли вообще?»

Путь к дому Дины лежал мимо редакции, и, подходя к ней, Крайнов вспомнил вчерашнее настойчивое подстрекательство Ирины — «испить чашу до дна», ее предложение оставить их в комнате вдвоем, и вдруг не обнаружил в себе мучительных сомнений, даже взбодрился:

— Ах, черт возьми! Почему бы и нет? — и свернул в редакционный заулок, чтобы на минуту заглянуть к Ирине, узнать, как она настроена, не отказывается ли от своего предложения.

— Ты один? Или уже все, совсем пришел? — вопросами встретила его Ирина.

В голосе ее Крайнов уловил наигранное безразличие, понял, отчего оно, и ему стало опять неловко перед ней, жаль ее. Будто винясь перед Ириной, он обнял ее узкие податливые плечи, поцеловал подставленные навстречу губы и встретил ответную ласку.

— Я испекла эклеры, взяла бутылочку коньяку. Будешь?

— Знаешь... я еще не был там, — замялся Крайнов.

— Вот и кстати, на дорожку... для храбрости, — предложила она обычным, как показалось ему, голосом.

— Давай... раз говоришь, для храбрости, — сразу согласился он, чувствуя в себе потребность побыть немного с Ириной.

Они выпили по рюмке, съели по эклеру, присыпанному сахарной пудрой, затем еще по одной, и у них сам собой потек непринужденный, приятный обоим разговор. Ирина была необычайно нежна, понимала его, как никогда, с полуслова, и во всем соглашалась. Крайнов душевно обмяк, без слов укорял себя в своих непутевых метаниях, между рюмками целовал маленький тугой рот Ирины, маленькие точеные раковины ее ушей, выпуклые веки раскосых глаз. Ему расхотелось куда бы то ни было идти, с кем-то встречаться, что-то переживать. Тишина и покой теплой комнаты, негромкая, будто тоже теплая музыка, льющаяся из приемника, нежность и ласка все понимающей женщины растопили его совсем. «Куда я пойду? — вяло подумал он. — Там мороз, дети, ее мать... Кабак уже закрыли, придется гулять на улице, и то какой-то час-два... Со мной опять будет истерика... И что мне даст это свидание? Миг прошлого, поток юности? Не наглотаешься... Вчерапил свою юность. «Испить чашу...» Нет, глупости. Ради чего? И зачем? Да и как, с какими глазами я буду теперь просить Ирину о комнате? Как приведу сюда Дину? Как она воспримет это? Кем я перед ней буду выглядеть? Нет, бред! Жуткий бред. Не надо ничего». Он допил последнюю рюмку коньяка, растегнул ворот рубашки и потянул конец галстука. Узел скользнул вниз и развязался.

Под утро ему приснилась Дина. Ее лицо, окутанное в цветастую шаль, светлым пятном появилось из

какого-то черного пространства, приблизилось к его лицу. Пряжка темных выющихся волос спала на лоб, в глубине бархатных глаз таилась печаль.

«Я так ждала тебя», — с горечью сказала Дина и тут же снова растворилась в пространстве.

Видение продолжалось какое-то мгновение, и, когда оно исчезло, Крайнов почувствовал, как что-то внутри у него оборвалось. Ему показалось, что остановилось сердце. В сознании мелькнуло: «Все, конец!» Он испугался своей смерти и, словно пытаясь освободиться от ее лап, рванулся куда-то в черное пространство, где только что исчезла Дина. От своего же толчка он проснулся. Сердце ухало так, что звон от его ударов отдавался в висках. Соображая, где находится, Крайнов огляделся по сторонам. В комнате было темно и прохладно. Рядом тихо дышала Ирина, и при вдохах ее острая грудь щекотала ему плечо.

«Она же ждала... — вдруг осенила Крайнова первая пришедшая мысль. — А я здесь... Я предал...» Он почувствовал жуткую, хуже любого одиночества, опустошенность в душе. Не было прежней щемящей боли, но пустота давила еще сильнее, еще нестерпимее, чем боль.

— Я предал тебя, Дина... — потерянно прошептал он и тут же испугался, что Ирина проснулась, услышала, но та дышала так же ровно.

Он закурил и, приблизив рубиновый кончик сигареты к руке, посмотрел на циферблат. Часы показывали четверть восьмого. От табачного дыма или шевелений Крайнова проснулась Ирина.

— Почему ты не спишь? — сонно спросила она. — Сколько сейчас времени? Часов семь?..

— Да, семь пятнадцать. Слушай, Ирэн: я могу позвонить от вас, из редакции, в Астрахань?

— Конечно можешь. Но зачем тебе такую рань? — Она скользнула под его шею тонкой рукой и теребила пальцами волосы на его лбу.

— Нужно, Ирэн, очень.

— Если нужно — звони. — Она назвала номер междугороднего телефона и код редакции. — Ключ от кабинета возьми у меня в сумочке, с боку, в кармашке. Только побыстрее, в восемь уборщица приходит.

Ему стоило труда уговорить телефонистку соединить его с областным центром.

— По служебному телефону так рано не положено, — как отрезала, так и отключилась.

Он снова набрал номер коммутатора, поговоривал — ни в какую. Тогда назвал и пригрозил неприятностями. Это подействовало. Минут через пять его соединили с собором.

— Старик, прости, если разбудил, — извинился Крайнов. — Мне срочно надо в Москву. Сегодня. После обеда или раньше буду у тебя. Нужен билет. На любой рейс. Сделай. Не надо машину, я автобусом. Вот сейчас бегу к автостанции. Ну, пока...

Закончив разговор, Крайнов подумал, стоит ли возвращаться к Ирине. «Может, уйти так, по-английски? Хм, хорош «англичанин!» И здесь нагадишь», — обругал он себя и, вспомнив, что к тому же дубленка осталась на вешалке у Ирины, вернулся в комнату.

— Ирэн, извиняюсь, но совсем забыл, — виноватым голосом начал он, с ходу придумывая оправдание. — Я сейчас с собкором говорил. Понимаешь, какая штука... Там один человек приехал. Мне с ним позарез надо встретиться. Это по жалобе... Он будет в городе всего что-то день или два... Потом, ты же знаешь, справки всякие заказаны, надо забрать, посмотреть, что ли.

— Ты же говорил, что все по командировке сделал. И справки тебе собкор должен обеспечить, — недоуменно сказала Ирина.

— Совсем забыл я про этого человека... Он прежний рыбинспектор, к семье заехал, ну, навестить...

— Что ж он среди недели приехал? Мог бы и на выходной...

— Да откуда я знаю: среди недели, не среди недели, — чувствуя, что Ирина прекрасно видит его ложь, раздраженно взмахнул он рукой, желая покончить с разговором.

— Ладно, сочинитель, — понимающе усмехнулась она. — Когда едешь-то?

— Сейчас, прямо сейчас, — заторопился Крайнов.

— И к родителям не зайдешь?

— Нет, забегу, прошусь и на автобус.

— Тогда поспешай. До отправления меньше часа. — И она отвернулась к стене.

— Ты извини меня, прости, Ирина. Ну надо мне, понимаешь, — тронул он ее за плечо.

— Поезжай, поезжай... Чего там? Какие извинения? — чужим, равнодушным голосом сказала она.

— Я тебе напишу из Москвы. — Крайнов не мог избавиться от виноватых ноток в голосе.

— Напиши, напиши... — не оборачиваясь, выдавливала из себя сухой шепот Ирина.

Он, птясь, выходил из комнаты. Свет приемника высвечивал рыжие Ирины волосы на подушке, падал на белизну плеча. На несколько секунд Крайнов задержался на пороге, желая сломать в себе созревшее решение, остаться с Ириной и вообще не пороть горячку, но какой-то упрямый голос изнутри твердил ему, что он не может, не имеет права задерживаться здесь ни минуты, что он осквернил самое святое, обманул самого дорогого человека, изменил самому себе. Этот голос подавлял все его желания, все слабые попытки оправдаться перед собой, перед Ириной. Он властно управлял Крайновым, и тот, уже выйдя на улицу, больше не пытался ему противиться.

Дома завтракали. На столе парил никелированный электросамовар, возвышалась на тарелке горка ноздрястых блинов. Мать, держа на пальцах блюдце,

пила чай, отец, завернув в блин паюсной икры, отправлял его в рот. Увидев на пороге сына, старики оставили и чай, и блины, обернулись в его сторону. Крайнов постарался быть спокойнее, но спешки все же не смог сдержать.

— Все, улетаю, — не поздоровавшись, заговорил он. — Мам, где мой портфель? Двадцать минут на сборы.

— Что такое? — изменилась в лице мать.

— Из Москвы срочный вызов. Полдевятого на автобус и к обеду в самолет.

— Ну вот, и не погостил, и сараюшку достроить не пришлось, — дожевывая блин, с сожалением причмокнул губами отец.

— Сиди ты со своей сараюшкой, — одернула его жена. — Возьми-ка рюкзак, поди рыбы, икры положи Андрею. Поел бы, сынок, чайку бы хоть попил... Не евши небось со вчерашнего... — жалостливо взглянула она на сына.

— Да, надо бы перекусить на дорожку, — согласился он, хотя есть вовсе не хотелось.

Он с усилием, чтобы только не обидеть мать, проглотил пару блинов, запивая чаем, и снова заторопился:

— Некогда, мам. Ну просто ни минуты! Ты собери мне что-нибудь в пакет, дорогой пожую.

Отец принес увесистый, провисший от тяжести рюкзак, поставил его у порога.

— Осторожней гляди. Сойди где-нибудь до станции, а то бэхээсэс шустрит, будут неприятности, — предупредил он, хотя сын прекрасно знал, что следует делать.

Крайнов не раз, несмотря на запрет и строгий контроль милиции, провозил в Москву икру и красную рыбу, но понемногу: себе да приятелей угостить — и не считал это большим преступлением закона. Как-то, чтобы не иметь неприятностей, он даже оставил в автобусе свой портфель с поклажей, когда напоролся на проверку, вышел с одним чемоданом. Но в этот раз в нем возникло сомнение.

— Куда ты, батя, столько наложил? Не с руки мне с этим таскаться. Вот, что в портфель влезет, больше не возьму.

Он затолкал в свой широкий дорожный портфель две пол-литровых банки икры, забил воблой свободное место в одном из трех отделений, еще в одно сунул кусок балыка, торопливо обнял родителей и ушел.

К автобусу Крайнов успел с небольшим запасом времени, выстоял короткую очередь, взял билет. До отправления оставалось еще пять минут. Он немного поколебался, потом зашел в будку телефона-автомата, набрал номер Ирины, напоролся на Хазарова и, не желая выдавать себя, ни слова не сказав, повесил трубку.

В автобусе его вновь охватила пустота и одиночество. Пропали все мучения, в небытие ушли сомне-

ния, угрызения совести и самоупреки. Ему стало совершенно безразлично, что станет с Диной, с Ириной, с ним самим. Он твердо знал только одно: надо добраться до Москвы, все взвесить, как бы со стороны понаблюдать за собой — что будет дальше, куда потянет, станет ли жалко чего-нибудь из прошлого, из потерянного. Равнодушие ко всему окружающему, ко всему происшедшему и мерная автобусная качка скоро укачали его, он уснул в пустом углу на заднем сиденье и проспал до самой Астрахани. Сошел на автостанции, где его уже ждал собкор с машиной.

Они сняли с брони билет, заехали в один из ресторанов-поплавков, вмерзших в лед у берега Волги, посидели пару часиков, потрепались о газетных делах, вспомнили знакомых коллег.

— Слушай, — сказал тут собкор. — У вас в Лебяжьем девочка одна есть в редакции... Черт, забыл фамилию! Арефьева, Отрепьева... — пошелкал он в воздухе пальцами, силясь припомнить. — Ну, как ее?.. Ирина...

— Аферьева, — подсказал Крайнов.

— Во-во, точно — Ирина Аферьева. Ты ее знаешь?

Крайнов неопределенно промычал: то ли да, то ли нет.

— Девочка, доложу тебе, класс! Я как-то был у вас, задержался, ну и провел ночь... Не скажу, что абсолютно в моем вкусе — я больше баб с сальцом уважаю... Но эта тоже неплоха! Нет, старик, неплоха. Худовата, но... На любителя очень даже... что называется, «с косточкой»... — выговаривался уже изрядно подвыпивший собкор. — Я тут грунт щупал, хочу перетащить ее в Астрахань, в «молодежку» или хоть в какую «многотиражку» толкнуть. Ну что ей пропадать в вашем Лебяжьем? Глядишь, и для меня под боком всегда будет... Неглупая, доложу тебе, бабенка, очень неглупая... И в постельке хороша... Ох, постельная, старичок, женщина!

Крайнова бы возмутил такой разговор, возникни он несколькими днями раньше, и неизвестно, чем бы для него и собкора кончилось дело. А тут ему стало совершенно безразлично, что было у Ирины с собкором, заливает он сейчас или впрямь откровенничает под пьяную лавочку. Он не поддержал разговора, посмотрел на часы:

— Пора, старик, опаздываем...

Они вышли из кабака, сели в свою «Волгу» и были в аэропорту задолго до конца регистрации на столичный рейс. Не вспомнив о заказанных справках, Крайнов с наигранной теплотой простился с коллегой и улетел в Москву.

7

— Оглох, что ли? — толкнул его в бок Никитич и тем вернул в шумевший, прокуренный зальчик. — Еще по паре, что ли? А то закроют скоро. Вишь, я угово-

рил всю батарею, — обвел он широким жестом заставленный порожними кружками стол.

Очнувшись от своих мыслей, Крайнов поднял на шефа усталые глаза, оглядел бар. Рядом стояли над кружками уже другие лица, и народу в зале стало меньше, очереди не было.

— По паре так по паре, — безразлично сказал он и направился к стойке.

— Ты какой-то малохоленный сегодня, — удивленно вскинул бровь Никитич, когда Крайнов вернулся к столу с полными кружками пива в руках. — И глаза у тебя ненормальные, худые глаза... Устал, что ли? Ну отдохни пару деньков, отоспись.

— Я и хотел просить об этом. До понедельника, а? Сделай. Скажи, что дома пишу. Ну придумай что-нибудь. Ты же старый мудрый зубр. Надо мне, понимаешь, очень надо.

Никитич пристально, словно стараясь насквозь просверлить Крайнова помутневшими пьяными глазками, посмотрел на него.

— Пишешь — не пишешь, это не твоего ума дело. Что-нибудь сами придумаем. Командировка каким числом закрыта?

— Не ставил пока числа, только печать. Но билет же сегодняшний...

— Узнай, когда астраханские поезда приходят, смотай в воскресенье иль в понедельник с утра на Павелецкий, билет тебе там любой пассажир отдаст, а лучше подойди к какой-нибудь молоденькой проводничке — любишь молоденьких проводничек? Я страсть люблю! — хорошо попроси, вот и вся недолга. Эх ты, тюха-матюха! Учить вас, молодежь, все надо, учить... — довольно, с чувством превосходства засмеялся Никитич, и его, ставший еще огромнее, живот колыхнулся тугой подушкой.

Крайнов поблагодарил шефа за совет, постоял с ним у столика до закрытия бара, посадил Никитича в такси, а сам пешком побрел по залитому неоновым светом Калининскому проспекту, через Москву-реку, домой. Состояние у него было совершенно непонятное: то лихорадочно работала мысль, выхватывая из этих нескольких дней самые яркие моменты, возвращая память к самым острым переживаниям, то наступало полное равнодушие, опустошенность, то снова начинала грызть совесть, а в груди появлялось беспокойное щемящее чувство и мешало дышать.

— Нет, старичок, надо устоять, — рассуждал он сам с собой. — Хорошо выспаться, отдохнуть, поставить все на свои места — и будь что будет.

Он подходил к дому, когда водители гнали мимо почти пустые троллейбусы, торопясь в парк. Это единственное, что осталось в его памяти из всей долгой прогулки. Поднявшись к себе на шестой этаж, он открыл квартиру, застелил свежей простыней просторную тахту, чтобы не мучиться бессонницей, принял крепкую дозу валерьянки, лежа выкурил сигарету и скоро уснул.

Ночь прошла без сновидений. Ему даже показалось, что как засыпал на спине, так на спине и проснулся. Выспался он, что называется, под завязку — встал только в полдень и с первых же минут пробуждения почувствовал в себе неодолимое, почти до зуда, желание писать, закончить наконец давно начатую повесть. Он прокручивал в голове все, что было написано, мысленно зачеркивал уже положенные на бумагу картины, действия и рисовал новые. Получалась повесть о мальчике и девочке из рыбацкого села; о моряне, паводках, неводах и белугах; о первой любви; о первом стихотворении, напечатанном в «районке»; о влюбленных глазах Дины; о мальчике, возмнившем себя писателем; о тлетворности славы... Все это представлялось ему зримо, объемно, но чем-то пугало. Крайнов чувствовал, что сейчас нельзя ему братья за повесть, есть что-то другое, более важное. И родилась вдруг первая фраза: «Он сам напросился ехать в эту командировку».

Пока он умывался, убирал постель, завтракал, эта фраза не давала покоя: она то сокращалась до трех слов, то растягивалась до десяти, то вновь возникала и мысленно прокручивалась в первом варианте. От нее исходила, принимала еще неясные очертания схема будущего повествования. Крайнов, боясь упустить первую зацепку, потерять на писанину запал, по-быстрому кончил необходимые дела, достал из шкафа портативную пишущую машинку, зарядил чистый лист, обложился бумагой, сигаретами, пепельницей и отстучал первую фразу. За ней легко потянулась словесная нить, в кружеве ее обрисовывались характеры героев, стремительно раскручивалось действие.

Работа захватила Крайнова так, что он забывал о сигаретах и, лишь когда начинало подсасывать в горле от недостатка никотина в крови, он машинально выхватывал из пачки сигарету, не отрываясь от машинки, выкуривал ее в пять—семь затяжек. Четко выстраивался сюжет, он складывался в голове и намного опережал написанное, потому что главного выдумывать не приходилось, канва была ясна и требовала лишь некоторых художественных украшений. Сначала он уделял этому много внимания, тщательно прописывал пейзаж, обстановку, окружавшие героев, но чем дальше развивалось действие, тем яснее он сознавал, что все это мишура, словесный мусор, не надо ничего выдумывать и додумывать, нужно всего лишь быть откровеннее перед чистым листом, как можно откровеннее — и все. Что-то еще сдерживало его, в уме появлялись вымышленные картинки и невольно переносились на бумагу, но с каждым вынутым из машинки листом их становилось все меньше. Крайнов с радостью и боязливым трепетом ловил в себе ноты предельного откровения, стремясь положить их на бумагу в первозданном, нескрашенном виде.

Когда зазвонил телефон, Крайнов чертыхнулся и, боясь потерять нить рассказа, продолжал стучать по клавишам, резко передергивая каретку. Но звонили настойчиво. Он кинулся к телефону, услышал в трубке недовольный голос тещи:

— Андрюша, в чем дело? Почему ты все еще дома? К Гале пускают только до семи вечера.

Он взглянул на часы, было уже начало шестого. Мельком подумал, как быстро пролетел день, он даже не заметил, что в комнате уже стоит полумрак.

— Ты что молчишь? Что случилось? — настойчиво спрашивала теща.

Он с тоской подумал, что надо будет сейчас переться к ней за продуктами для жены, потом в больницу — и пропало то сладкое упоение, то редкое состояние легкости письма, его горячечной лихорадки, что посещало не так уж часто. Зная по опыту, что если сейчас оторвется от бумаги, то вернется к ней не через час-два, а бог знает когда, он стал придумывать, как бы отказаться и не ехать к жене. Подумал и пожалел, зачем вообще объявился и позвонил вчера, молчал бы, будто и нет еще в Москве, не вернулся из командировки.

— Мамаша, тут таким образом дело обернулось, — начал выкручиваться Крайнов. — Я сегодня звонил на работу, надо срочно сдать материал. Запланирован он на воскресный номер. С утра из-за стола не вылезая, забыл обо всем...

— Ну знаешь ли, это не очень красиво с твоей стороны, — недовольным голосом стала выговаривать теща. — Ты хоть бы позвонил, побеспокоился. Недельку не был в Москве, жену положили в больницу, можно бы выкроить пару часов, навестить Галю. Это же элементарно.

— Мамаша, я же еще где-то и насморк схватил. Как бы не заразить Галину, — прибавил он в свое оправдание, вспомнив, как жена остерегалась заболеть во время беременности. — Сопливилю — сил нет. Простыл, наверное.

Теща на минуту смолкла, и он, поняв ее молчание как колебание, стал напирать:

— Ну право, мамаша! Куда я, больной, поеду? Увидит она меня с мокрым носом, еще хуже будет: станет переживать, волноваться — вдруг я грипп какой привез. К чему ей сейчас эти беспокойства? Не знает, что я приехал, и пусть не знает. А я подлечусь за эти дни и съезжу к ней в воскресенье. А?

— Может, капли тебе подвезти? — примирительно спросила теща.

— Не стоит. Тут, в аптечке, я пузырек с эфедрином нашел, пару раз в нос капал, вроде помогает, — как можно увереннее успокоил ее Крайнов, зная, что теще ничего не стоит приехать сейчас к нему с лекарствами. — На ночь еще чайку с малиной напьюсь, ноги погрею в воде с горчицей. До воскресенья все как рукой снимет. Не стоит тебе беспокоиться, переться в такую даль. Лучше, правда, съезди к

Галине, тебе же там почти рядом. Скажи, что я из Астрахани звонил, все нормально, мол... — запнулся он, вспомнив, что ни разу не позвонил в Москву за время командировки, спеша скорей к Ирине, а потом закрутившись в бурном водовороте нахлынувших жданных и неожиданных свиданий. — Ну в воскресенье буду... Да, я тут малость икорки, рыбки привез, пусть отец пивка на выходной возьмет, — попытался он перевести разговор на другую тему, но теща, видно, не слушала его и расспрашивала о температуре, настоятельно советовала не запускать насморк, обязательно прогреть на ночь ноги, надеть шерстяные носки. Он едва сумел отговориться, заверяя, что сделает все лучшим образом и к воскресенью будет свеж как огурчик.

Положив на аппарат трубку, Крайнов почувствовал, что разговор вымотал его, потерялась последняя фраза, которую он не успел записать, вдруг обозлился на себя, что не отключил вовремя телефон, на тещу, что попусту отняла столько времени, и со злостью выдернул из розетки шнур телефона.

Прошелся по коридору, вспоминая забытую фразу. Захотелось вдруг есть. Он поставил на плиту чайник, вновь вернулся к машинке, просидел над ней без толку, прочитывая раз за разом последний абзац. Что-то оборвалось, дело застопорилось. На кухне пронзительно засвистел чайник. Крайнов поспешил к нему, решив пообедать и уж потом снова садиться за работу. Сварил суп из пачетика, разогрел консервированный горох со свиной и пока сидел над тарелкой, снова стало возвращаться рабочее состояние. Он даже не допил чай, не убрал со стола, так, с чашкой в руках, и ушел в комнату, к машинке.

И снова нахлынуло, накатило на него все пережитое, снова стояли перед глазами события последних дней, лица Дины, Ирины, матери. Он, будто заново, жил в прошлом и описывал его, стараясь быть предельно честным, ни в чем не сфальшивить. В острых моментах чувства захватывали его так, что снова появлялся, застревал в горле нестерпимый колющий комок, слезы стояли в глазах, и он замечал, что текст становится отрывочным, корявым. Крайнов не сдерживал себя, не успокаивал, сладкое состояние горечи, невосполнимой потери приятно щекотало нервы. Он понимал, что пришло оно к нему сейчас, быть может, в последний раз. Вот выпшется до конца, до предела, и все станет на свои места, боль уже никогда не будет столь острой, и если все-таки она останется в нем, то будет жить где-то глубоко-глубоко в душе, как что-то прошлое, почти забытое, даже чужое, не его чувство, и никогда уже оно не прорвется столь бурно наружу, никогда не захватит его всего, целиком, без остатка. Он и радовался этому, и жалел о скором своем исцелении, понимая, что теряет с ним не только Дину, свою первую любовь, теряет какой-то значительный, самый светлый и самый горький кусок своей жизни и никогда

уже не сможет вернуться в нее, пережить заново ее счастье и потери.

Росла стопка исписанной бумаги, и вместе с ней все тоньше становилась связь его с прошлым, связывающие с юностью нити словно рвались одна за другой и все беспросветнее становилось будущее одиночество. Крайнов прекрасно сознавал это и понимал, что поставь он сейчас точку, оборви писанину на середине фразы — и что-то останется в нем, не умрет, будет жить всегда. Но он не хотел этого, чувствуя, что рождается самое искреннее, самое лучшее его произведение, может быть его «лебединая песня», и спешил допеть ее, не сорваться на фальшивую ноту.

Работал он горячечно, потеряв счет времени. Когда уже не помогали ни сигареты, ни черный, как деготь, кофе, глаза слипались от усталости, он отрывался от стула, падал на тахту, долгое время не находил в себе сил ни заснуть, ни снова сесть за машинку, наконец, будто впадая в забытие, захватывался беспокойным сном, вскакивал как чумовой, кипятил чайник, чего-нибудь наскоро перекусывал, и снова треском рвущегося брезента задышалась пишущая машинка, выматывая из Крайнова последние душевные силы.

Наконец была поставлена последняя точка. Будто не веря, что все позади, повествование закончено, Крайнов машинально пробежал глазами ровные строчки стандартных букв наполовину исписанного последнего листа, смутно понимая смысл содержания, но чувствуя, что это и есть то, что надо, чего так хотелось ему. Это его «лебединая песня»!

От нестерпимой рези болели глаза, ощущалась ватная тупость в голове и безразличная пустота в груди. Крайнов посмотрел на себя в зеркало: лицо было бледное, осунувшееся, скулы стали острыми, как у монгола, белки глаз прорезали кровавые сетки лопнувших от напряжения сосудов. Ему показалось, что оттуда, из зеркала, на него смотрит не он, а совсем незнакомый, чужой человек.

«Так и до галлюцинаций довести себя можно», — устало подумал он, с удовлетворением сознавая, что скинул с плеч, с души непомерной тяжести ношу, и эта ноша, перерожденная печатными буквами его портативной «Эрики» в рассказ или повесть — он еще не определил жанра, не знал, что получилось, как будет правильнее назвать это произведение — лежала на столе стопкой бумаги в сотню страниц, над которыми еще нужно работать и работать: читать, перечеркивать, дописывать, переживать все снова и снова, но уже не так остро, не так болезненно.

— Пусть полежит месяц-другой, — сам себе сказал он. — Надо глянуть на это чужими глазами.

Он убрал рукопись в папку, машинку — в чехол, подумал, что наступает уже воскресенье, надо собираться к жене, но еще есть несколько часов, чтобы поспать. Чувствуя голод, он прошел на кухню, от-

Генеральный**директор***Елена Шевцова***Главный бухгалтер***Людмила Дьячкова***Художественный****редактор***Татьяна Погудина***Цветоделение****и компьютерная****верстка***Александр Муравенко***Заведующая****распространением***Ирина Бродянская*

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

123007, Россия, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Тираж 2 000 экз.

Уч.-изд. л. 10,0.

Заказ №

Адрес редакции:*Россия,**107078, Москва,**Новая Басманная, д. 19***Телефоны***редакции:**8(499) 261-84-61**отдела распространения:**8(499) 261-95-87***Факс:***8(499) 261-49-29***E-mail:***www.roman-gazeta-1927.ru***Сайт:***www.roman-gazeta-1927.ru*

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи

сохраняются в течение года.

крыл дверцу холодильника, намереваясь перекусить чем-нибудь. Полки были почти пустые, лишь завалялся кусок засохшего сыра и в самом углу стояли две банки: пол-литровая с икрой и маленькая с горчицей. Чтобы утолить голод, он прямо из носика чайника выпил сколько мог остывшего кипятка, завел будильник, поставил стрелку звонка на полдень, покурил и лег спать.

За окнами, в еще не проснувшемся городе, зарождалось серое январское утро.

* * *

Через несколько лет Крайнов приедет в Лебяжье на похороны отца, зайдет на местный рынок, где случайно встретит Ирину. Они поздороваются, проговорят несколько минут, и он узнает, что Ирина вышла замуж, муж запил и, чтобы отвести его от алкоголя, она увезла семью в Киргизию, а сюда приехала в отпуск к родственникам мужа.

— А вот мои девчонки, — показала она на двух девочек-погодков, прилепившихся к витрине ларька с сувенирами.

Она позвала их. Крайнов увидел две симпатичные мордашки с узким разрезом глаз и пошутил:

— На меня не похожи...

— И быть не может, — как-то холодно сказала Ирина, взяла девчонок за руки, распрощалась и направилась вдоль торговых рядов.

Он долго смотрел ей вслед. Она не обернулась.

А спустя еще много лет, похоронив мать, Крайнов будет оформлять документы на продажу родительского дома и у нотариальной конторы столкнется с Диной. Он едва узнает ее — Дина будет озабочена болезнью внука. Разговора у них не получится. Чтобы как-то разрядить ситуацию, он спросит:

— Может, помочь чем?

— А чем ты поможешь? — пожмет плечами Дина.

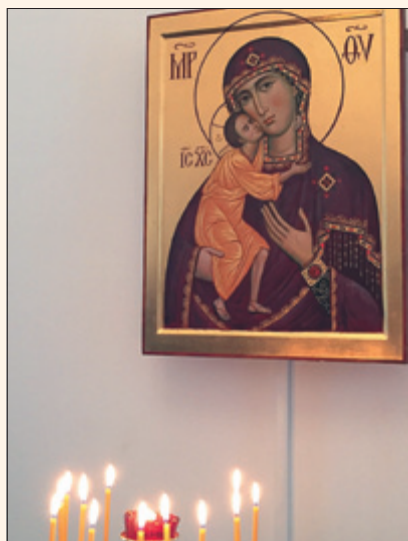
Он ступает, быстро свернет разговор, и черный «Ландровер», блеснув на солнце крутым полированным боком, умчит его в столицу.

СОДЕРЖАНИЕ

Разговор	1
Недостроенный забор	2
По гололеду	2
Куст сирени	3
Два тополя на задворках	3
Мой Дуб	4
Друг моего детства	6
Колотушка	9
Ватрушка с черникой	12
«За отвагу на пожаре»	15
Тополь, который все помнит	17
Бедолаги	20
«Пантелеймон-мученик»	23
Ничего не случилось	26

ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ. Повесть 32

МЕЖДУ ТРЕХ ОГНЕЙ. Повесть 47



В годы аксаковского директорства из аудиторий Константиновского Межевого института вышла плеяда прекрасных специалистов и глубоко образованных интеллигентов.

Экспозиция музея включила в себя рассказ не только о С. Т. Аксакове-чиновнике, но и о нем как театральном критике, писателе, воспитателе и отце большого семейства, вырастившем для русской культуры выдающихся деятелей — сыновей Константина, Ивана и Григория Аксаковых. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу старой Москвы, увидеть изображения площадей, переулков, храмов: Арбатские ворота, храм Бориса и Глеба, Филиппа митрополита, Пречистенку, Сивцев Вражек, Кисловку, где жил и любил бывать писатель.

В торжественной церемонии приняли участие представители руководства и профессорско-преподавательского состава МИИГАиК, видные историки, литераторы, исследователи жизни и творчества С. Т. Аксакова, меценаты, журналисты, актеры, в том числе: Президент МИИГАиК В. П. Савиных, и.о. Ректора МИИГАиК Е. Я. Бутко, Директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома и внук выдающегося советского учёного-геодезиста д.техн.наук, проф. П. С. Закатова (Ректор МИИГАиК с 18.04.1957 г. по 15.06.1963 г.) А. Н. Закатов, ректор Государственного университета по землеустройству С. Н. Вол-



ков, Вице-президент Фонда Черномырдина С. Н. Черномырдина, заведующий научно-фондовым отделом Государственного историко-художественного и литературного Музея-заповедника «Абрамцево» М. В. Суворов, заместитель директора Государственного Литературного музея Э. Д. Орлов, искусствовед и реставратор М. С. Ямщикова, народная артистка России Л. В. Титова.

На открытии музея гостей ожидала не только экскурсия, посвященная писателю и его окружению, но и посещение уникальных Золотых комнат особняка Демидова, построенного по проекту архитектора Матвея Казакова. Здесь многие десятилетия находился Константиновский Межевой Институт, а ныне располагается МИИГАиК.

В заключение организаторы подготовили литературно-

музыкальную композицию, иллюстрирующую культурную среду начала аксаковской эпохи, когда происходило становление Константиновского Межевого Института. Поздравить университет с этим событием и подарить свои выступления пришли ведущий актер Государственного Академического Малого Театра, лауреат государственной премии Д. Солодовник и выпускники Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Института им. Гнесиных.

Ответственный редактор журнала «Роман-газета» Е. В. Русакова передала в дар новому музею и библиотеке Университета геодезии и картографии недавно изданный нами труд М. П. Лобанова «Дух по-прежнему тревожен...» («РГ» №15, 2016), посвященный С. Т. Аксакову и его семье.

